Михаил
ВЕЛЛЕР

ВСЕ ЛЕГЕНДЫ

Легенды Невского проспекта
Легенды Арбата
Легенды разных перекрестков
Эхо былой родины

Михаил Иосифович Веллер

Все Легенды

Серия «Лучшее Михаила Веллера»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62984535
Все Легенды: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-123194-1

Аннотация

В этой книге собраны все «Легенды» Михаила Веллера: «Легенды Невского проспекта», «Легенды Арбата», «Легенды разных перекрестков» и те, что не вошли в эти сборники – самые знаменитые бестселлеры автора.

Содержание

Легенды Невского проспекта 7
Саги о героях 7
Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице 10
1. Интеллигентик 10
2. Открытие 14
3. Начало 20
4. Бомбардир 24
5. Бросай крючья 27
6. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью 30
7. Шляпа 31
8. Зэк 39
9. Любовь 42
10. Венец и конец 43
Марина 48
1. Девочка легкого поведения 48
2. Влипла 51
3. В борделе 52
4. Иностранцы 53
5. Болт 58
6. Левер понч 63
7. Ее университеты 70

8. Джорджи 76
9. Пожар в Европе 79
10. Куртизанка КГБ 84
11. Шейх в «Мерседесе» 87
Легенда о стажере 91
Океан 111
Легенда о Моше Даяне 132
Легенда о заблудшем патриоте 142
1. Драп 142
2. Жертва грибного спорта 146
3. Явление балды народу 150
4. На кого ты работаешь?! 153
5. Есть в жизни счастье 158
6. Ротозей – но наш! 160
7. Шьем дело из материала заказчика 166
8. Вернулся в свой город, знакомый до слез 170
9. Ку-ку! 172
Оружейник Тарасюк 172
1. Загробный страж 172
2. Партизан 175
3. Курсант 178
4. Абитуриент 181
5. Студент 183
6. Дипломант 186
7. Профессор 189

8. Слава 190
9. Киногерой 194
10. Рыцарь печального образа 196
11. Встреча в ауте 199
12. Еврей 202
Легенды «Сайгона» 207
Крематорий 207
Танец с саблями 217
Легенда о соцреалисте 226
Американист 237
Легенда о морском параде 249
Лаокоон 267
Конец ознакомительного фрагмента. 271

Михаил Веллер
Все Легенды

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© М. Веллер, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Легенды Невского проспекта

Саги о героях

Первая и славнейшая из улиц Российской империи, улица-символ, знак столичной касты, чье столичье – не в дутом декрете, но в глубинном и упрямом причастии духу и славе истории, – Невский проспект, царева першпектива, игольный луч в сердце государевом, и прочие всякие красивые и высокие слова, – Невский проспект, сам по себе уже родина, государство и судьба, куда выходят в семнадцать приобщиться чего-то такого, что может быть только здесь, навести продуманный лоск на щенячью угловатость, как денди лондонский одет и наконец увидел свет, где проницательность швейцаров и проституток разом отбила бы у Рентгена мысль о своих кустарных и малодостоверных лучах, и синие гусары в топот копыт по торцам, и Зимний окружен броневиками Шкловского, эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна, и Фека королевствовал из одноименного кабака, пока не трахнул в зазнайстве дипломатову родственницу, за что и был шлепнут, Невский, чьи бессрочные полпреды прошвыриваются по нему в ностальгических снах своих от Парижа до Кейптауна и Каракаса, усвоить моду и манеру, познакомиться, светский андегра-

унд, кино – театр – магазин – новости – связи – товар – деньги – товар – лица и прочие части тела, кофе и колесико, джины и игла, – – короче, Невский, естественно, имеет собственный язык, собственный закон, собственную историю (что отнюдь не есть вовсе то, что общедоступная история Санкт-Петербурга и Ленинграда), собственных подданных и собственный фольклор, как и подобает, разумеется, всякой мало-мальски приличной стране.

Фольклор сей, как и всякий, хранится старожилами и шлифуется остроумцами, метит в канон и осыпается в Лету. Как и всякий, случается он затейлив, циничен, сентиментален и смешон.

Когда-то я тоже жил на Невском и был с него родом.

САГИ О ГЕРОЯХ

Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице

1. Интеллигентик

В одна тысяча девятьсот пятьдесят третьем годе, как известно, Вождь народов и племен решил устроить евреям поголовно землю обетованную на Дальнем Востоке, и сорока лет ему для этой акции уж никак не требовалось. И составлялись уже по домоуправлениям списки, и ушлые начальницы паспортных столов уже намечали нужным людям будущие освободиться квартиры, и сердобольные соседи в коммуналках делили втихаря еврейскую мебелишку, которую те с собой уволочь не смогут, и громыхал по городу Питеру трамвай с самодельным по красному боку лозунгом «Русский, бери хворостину, гони жида в Палестину». И евреям, естественно, все это весьма действовало на нервы и заставляло лишний раз задуматься о превратностях судьбы, скоротечности земного бытия и смысле жизни.

В двадцать два года людям вообще свойственно задумываться о смысле жизни. Студент Кораблестроительного института, Ефим Бляйшиц писал диплом и остраненно, как не о себе, соображал, удастся ли ему вообще закончить институт – может быть, заочно? – и как насчет работы кораб-

лестроителя в Приморье. Амур, Тихий океан… да ничего, жить можно. Жил он, кстати, на Восьмой линии Васильевского острова, в комнатушке со старенькой мамой. Мама, как и полагается маме, в силу возраста, опыта и материнской любви, смотрела на развертывающуюся перспективу более мрачно и безнадежно, чем сын, и плакала в его отсутствие. Друг же друга они убеждали, что все к лучшему, жить и вправду лучше среди своего народа, и в Биробиджане, слава Богу, никто их уже не сможет обижать по пятому пункту; а может, все и обойдется.

Пребывать в этом обреченно-подвешенном состоянии было неуютно, особенно если ты маленький, черненький, очкастенький и картавишь: и паспорт не нужно показывать, чтоб нарваться по морде. Фима нарвался тоже раз вечером в метро, несколько крепких подвыпивших ребятишек споро накидали ему по ушам, выдав характеристики проклятому еврейскому племени, и, обгаженный с ног до головы и насквозь, на темном тротуаре подле урны он подобрал окурок подлиннее и, не решаясь ни у кого попросить прикурить, выглотал колючий дым ночью в сортире; кривая карусель в голове несла проклятия и клятвы. Мама проснулась беззвучно, почувствовала запах табака и ничего не сказала.

Будучи человеком действия, назавтра Фима совершил два поступка: купил пачку папирос «Север», бывший «Норд», и пошел записываться в институтскую секцию бокса.

– Куришь? – спросил тренер, перемалывая звуки сталь-

ными зубами.

– Нет, – ответил Фима. – Случайность.

– Сколько лет?

– Двадцать два.

– Стар, – с неким издевательским сочувствием отказал тренер, хотя для прихода в бокс Фима и верно был безусловно стар.

– Хоть немного, – с интеллигентской нетвердостью попросил Фима.

– Мест все равно нет, – сказал тренер и брезгливо усмехнулся глазами в безбровых шрамоватых складках. – Но попробовать… Саша! поди сюда. Покажи новичку бокс. Понял? Только смотри, не очень, – сказал им вслед не то, что слышалось в голосе.

– Раздевайся, – сказал Саша и кинул Фиме перчатки.

Стыдясь мятых трусов и бело-голубой своей щуплости, Фима пролез за ним под канат на ринг, где вальсировал десяток институтских боксеров, и был избит с ошеломляющей скоростью и деревянной, неживой жесткой силой, от заключительного удара в печень весь воздух из него вышел с тонким свистом.

– Вставай, вставай, – приказал спокойно тренер, – иди умойся.

– Удар совсем не держит, – якобы оправдываясь, пояснил Саша.

– Иди работай дальше, – сказал ему тренер. И Фиме, рас-

тирающему до локтя кровь из носу: – Сам видишь, не твое. – Неприязненно: – Покалечат, потом отвечай за тебя.

Очки сидели на лице как-то странно, на улице он старался прятать в сторону лицо, дома в зеркало увидел, что его тонкий ястребиный носик налился сизой мякотью и прилег к щеке.

– На тренировке был, – пояснил он матери, и больше расспросов не возникало.

Нос так и остался кривоватым, что довершило Фимин иудейский облик до полукарикатурного, «мечта антисемита».

В портфеле же он стал носить с тех пор молоток, поклявшись при надобности пустить его в ход; что, к счастью, не потребовалось.

Тем временем соседки на кухне травили мать тихо и въедливо, как мышь; об этом сын с матерью тоже, по молчаливому и обоим ясному уговору, не разговаривали.

Это неверно, когда думают, что евреям так уж всю историю и не везет. Потому что смерть Сталина в марте 53 была замечательным везением, вопрос о переселении отпал, врачи-убийцы как бы вместе со всей нацией были реабилитированы, и по утрам соседи на кухне стали здороваться и даже обращаться со всяким мелким коммунальным сотрудничеством. И Фима благополучно получил диплом и был распределен на завод с окладом восемьсот рублей.

Но так и оставался, разумеется, маленьким затурканным

евреем.

2. Открытие

Сначала появились стиляги. Сначала – в очень небольшом количестве.

Пиджаки они носили короткие, а брюки – легендарно узкие. Рубашки пестрые, а туфли – на толстой подошве. И стриглись под французскую польку, оставляя спереди кок; а лучших мужских парикмахерских было две: одна – в «Астории», а другая – на Желябова, рядом с Невским.

В милиции им норовили – обычно не сами милиционеры, а патриотичные народные дружинники – брюки распарывать, а коки состригать, о чем составлять акт и направлять его в деканат или на работу. Пресса рассматривала одевающихся так молодых людей как агентов ползучего империализма:

> Иностранцы? Иностранки?
> Нет! От пяток до бровей —
> это местные поганки,
> доморощенный Бродвей!

Затем прошел исторический XX Съезд Партии, была объявлена оттепель и чуть ли не свобода, и страху в жизни стало куда поменьше, а надежд и оптимизма куда побольше.

А еще через год состоялся впервые в Союзе Международ-

ный фестиваль молодежи и студентов, наперли толпы молодых со всего мира, и после этого (мы отслеживаем сейчас только одно из следствий, которое и вплетено нитью в нашу историю) стиляг стало хоть пруд пруди: представители прогрессивной молодежи западных, южных и восточных стран покидали гостеприимную Советскую Россию в туфлях на босу ногу, запахивая пиджачки на голых, без рубашек, грудях: гардероб оставался на память о дружбе и взаимопонимании их московским и ленинградским приятелям.

Стукачей участвовало в празднестве уж не меньше, чем иностранцев, и дружили только самые безоглядные и храбрые, – кроме специально выделенных для дружбы, разумеется, и проинструктированных, как именно надо дружить.

Фиму с его рожей никто дружить не уполномачивал; он и не дружил – опасался: дурак, что ли. Но глядя, как переходят на тела земляков шикарные и тонные шмотки, все крутил он и обдумывал одну нехитрую мыслишку.

Он эту мыслишку не один, уж надо полагать, обдумывал, но именно он, похоже, подошел к ней первый со всей еврейской глубиной и основательностью. Потому что на второй день фестиваля сообщил маме, что ему надо поговорить с хорошим старым адвокатом, какой, вроде, был среди ее знакомых.

– Что случилось? – испугалась мама.

– Ничего не случилось, – твердо заверил Фима.

– Так зачем тебе адвокат? – побледнела мама.

– Чтоб и впредь никогда ничего не случилось, – твердо заверил сын.

Адвокат, разумеется, тоже был еврей, и принимал Фиму в такой же комнатушке коммуналки. Фима развязал испеченный мамой пирог, размял папиросу и посмотрел на адвоката.

– Розочка, сходи в булочную, – попросил адвокат жену.

– Так какие же у вас неприятности? – спросил он. – Слушаю.

– Слушайте внимательно, – сказал Фима, – и если можно, тут же забывайте. Никаких неприятностей нет и быть никогда не должно. Может ли иностранец подарить мне галстук?

– За красивые глаза? – поинтересовался адвокат.

– В знак дружбы, – серьезно сказал Фима.

– У вас есть друг-иностранец? Кто? Где вы его взяли – на улице?

– На улице, – сказал Фима.

– И каким образом?

– Он спросил, как пройти к памятнику Ленину у Финляндского вокзала.

– И что же?

– Я его проводил к святыне нашего города и рассказал о приезде Ленина в апреле 17 года.

Адвокат укусил пирог, с удовольствием пожевал, запил чаем и посмотрел на Фиму.

– Он снял галстук прямо с шеи? – спросил он.

– Я долго отказывался, но он обиделся, а я не хочу, чтобы

иностранцы обижались на ленинградцев, – ответил Фима.

Адвокат кивнул.

– Хорошо, – сказал он. – Иностранец может подарить вам галстук.

– Я так и думал, – сказал Фима. – А рубашку он тоже может мне подарить?

– Он тоже снял ее с себя под памятником Ленину?

– Нет. Он попросил проводить его обратно до гостиницы.

– Он боялся заблудиться?

– Совершенно верно.

Адвокат подумал.

– А на каком языке вы говорили? – торжествующе выкрикнул он.

– На английском, – слегка удивился Фима.

– А откуда это вы знаете английский?!

– Как откуда? – еще больше удивился Фима. – Я учил его восемь лет: шесть в школе и два в институте. Я советский инженер с высшим образованием. Советское образование – лучшее в мире! Я был отличником.

– Да, – согласился адвокат, – это правда… Советское образование – лучшее в мире.

– Еще он подарил мне пиджак и туфли, – добавил Фима.

– За что?! – поразился адвокат.

– А я подарил ему свой пиджак и свои туфли.

– Зачем?!

– Ему нравятся наши товары.

– Так почему он не купил?!

– У него кончились деньги.

– Почему кончились?

– Он был накануне в ресторане.

– В каком? – быстро воткнулся вопрос.

– На «Крыше» в «Европейской», – так же быстро последовал ответ.

– А больше денег у него не было?

– Я должен был попросить его показать мне бумажник? или счет в банке?

Адвокат доел кусок и облизал пальцы.

– Хорошо, молодой человек, – одобрительно признал он. – Он может подарить вам галстук, рубашку, пиджак и туфли.

– Носки и плащ, – добавил Фима. – Он сказал, что жена купила ему носки не того размера, а плащ дал мне надеть, потому что пошел дождь; дома я выгладил его и хотел вернуть, но он уже уехал.

– Что еще? – спросил адвокат.

– Две пары чулок и французское белье для моей мамы.

– Зайдите в субботу, – сказал адвокат. – Я должен изучить этот вопрос так, чтоб не было сомнений.

– Да, – согласился Фима, – сомнений быть не должно. Но не в субботу, а завтра. Время дорого.

– Молодой человек, – сказал адвокат.

– Дружба дружбой, а служба службой, – сказал тогда Фима. – Вы даете мне эту консультацию и получаете гонорар по

высшей ставке. Ставку назовете сами.

Адвокат сдвинул очки на лоб. Фима вынул из кошелька полученную вчера зарплату и положил на стол. На ближайшие две недели они с мамой оставались с сорока копейками.

– Хорошо, – сказал адвокат. – Завтра в шесть.

– Подарки являются моей собственностью?

– Безусловно.

– Я могу их выкинуть?

– В первую же урну.

– Могу подарить?

– Первому встречному.

– Могу продать?

– Ага… Вероятно.

– Что значит – вероятно? Это мои вещи или нет?

– Вас интересуют статьи о спекуляции?

– А где вы тут видите спекуляцию?

Адвокат закурил Фимину папиросу и улыбнулся вошедшей с сеткой жене.

– Идишекопф, – ласково сказал он, кивая на Фиму. – Мать этого мальчика не умрет от нищеты.

Вот так в городе Ленинграде летом пятьдесят седьмого года в голове молодого и нормально задавленного жизнью восьмисотрублевого инженера и вполне типичного еврея Фимы Бляйшица родилась гениальная идея фарцовки.

Название это родилось позднее, и не у него, но название

его мало заботило, потому что Фима был нормальным советским материалистом и прекрасно знал, что было бы дело, а название ему всегда найдется.

Нет, и до него, разумеется, всю жизнь скупали барахло у иностранцев и толкали его на барахолках и среди знакомых, но он первый подошел к проблеме серьезно и научно. Он первый исчерпывающе выяснил, что в уголовном кодексе нет статей, карающих за получение денег по дивной модели, безукоризненно им отшлифованной.

А также, будучи молодым, умным и энергичным человеком с высшим образованием, изучавшим также и политэкономию по Марксу, он прекрасно понимал важность первым реализовать ценную идею и перспективу монополизации рынка и эксплуатации чужого труда.

Взрывчатая энергия свершений и карьеры, глухо запертая Законом в его курчавой голове и узкой грудной клетке, обрела выход и направление и всепробойной струей ударила наружу.

3. Начало

Назавтра он, во-первых, назанимал у всех, кого мог, полторы тысячи рублей – по десять, пятьдесят, сотне, – «до получки», срочно «на костюм»; и, во-вторых, записался в бригадмил, то бишь в народные дружинники, о чем и получил полезные красные корочки.

Первого своего фирмача он разбомбил в Эрмитаже, в нижнем гардеробе у выхода, рядом с туалетом. В том тесном и летучем столпотворении за каждым уследить невозможно, контакт выглядел естественно и невинно, и заход вдвоем в туалет никак не может выглядеть специальным умыслом.

Группу он отметил, определяя английский экскурсовода, в малых голландцах, наслаждаясь искусством следом за ними, не пялясь и не приближаясь. Выцелил добродушного на вид парня под тридцать, рассеянно обогнал их перед лестницей, подождал в гардеробе, поправляя прическу перед зеркалом за женскими спинами.

– Сори, – сказал он, попятившись и ненароком слегка толкнув парня.

– Сори, – приветливо улыбнувшись, в свою очередь ответил тот.

Фима, сияя доброжелательством ему в глаза, краем зрения зацепил галстук и сделал потрясенное лицо.

– Ар ю фром Парис? – умирая от восторга, спросил он непосредственно у галстука.

– Ноу, фром Свиден, – ласково ответил владелец.

– Зис ван из май оулд дрим, – мечтательно пожаловался Фима галстуку. – Свиден из вандерфул кантри, ай ноу. Ай вонт мэйк ю литл призент фром Раша. Хэв ю ван минит?

Швед покосился на дам из своей группы, выстроившихся в хвост привычной советской очереди, загибающейся в женский туалет, и отвечал утвердительно, что он хэв.

Фима чуть заметно подмигнул, чуть заметно двумя пальцами за рукав задал ему секундно направление в мужской туалет, там внутри тоже была очередь, и он небрежно, как бы одной рукой уже расстегивая штаны, другой сунул шведу семерную матрешку.

– Оу, сэнк ю вери мач, – рассыпался донельзя счастливый швед.

– Нот ит ол, – печально ответил Фима галстуку. – Из ит вери експенсив синг фор ю? Ченч, иф ю плииз, ес?

Швед секунду поколебался, наметив движение руки к галстуку – не то щедрое, не то наоборот, защищающее.

– Фор э мемори оф ауэ мэн френдшип, – со сдержанной мужской грустью расставания произнес Фима и отвел полу пиджака, показывая торчащую из внутреннего кармана бутылку водки.

Швед узнавающе посмотрел на водку и приязненно улыбнулся. Не то он решил, что это тоже презент, не то вознамерился выпить сейчас тут же безотлагательно, но как-то храня во взгляде память о бутылке, щедрым запорожским жестом сдернул галстук и удивленно обернулся: галстук бесследно исчез вместе с Фимой.

Достоявшись в очереди на мочеиспускание, швед с постепенным приятным облегчением подумал о загадочной русской душе и исчез, первая ласточка, из Фиминой судьбы и тем самым из нашего повествования. Экая жалость, что История не донесла до нас имени первого объекта того громад-

ного бизнеса, который именуется фарцовкой.

Фима же, небрежно при выходе нацепив галстук на собственную шею, как бы приводя себя в порядок после духоты и толкотни музея, погулял небрежно в Александровский сад и шлепнулся на скамью у памятника Пржевальскому.

– Это тебе не верблюдов доить, – с назидательной покровительственностью сказал он памятнику.

Перечитал, смял и на всякий пожарный случай выкинул в урну листочек с самодельным своим русско-английским разговорником: английским он владел, как всякий нормальный советский инженер, несколько лучше обезьяны, но гораздо хуже эскимоса.

– Боже, какой писк моды! потрясэ! – оценили в отделе буйный попугайский колер его добычи. – Где оторвал?

– Дядя в подарок привез, из Швеции, – с удовольствием поведал Фима, легко опровергая теорию о невозможности для мужчины родить, причем сразу пожилого ответственного двоюродного дядю, бывающего в загранкомандировках.

Галстук он загнал одному из жаждущих пижонов прямо на работе, выгадав на своей первой сделке всего пятнадцать рублей.

И твердо решил на работе больше никаких сделок не совершать.

Лиса не трогает ближний курятник.

4. Бомбардир

Есть много способов бомбить фирму.

В гостиницах и прямо в аэропортах, в кабаках и в театрах, в музеях и непосредственно на улице.

Можно просто клянчить мелочи на бедность, брать мелочи покрупнее в благодарность за общение или гостеприимство, можно менять на сувениры или на водку, можно покупать за рубли, можно принимать в уплату за девочек, такси и угощение в ресторане. Можно споить или припугнуть.

Отшумел достославный Московский Фестиваль, и вряд ли кто из знаменитых на весь мир его участников извлек из него столько пользы, сколько маленький и незаметный Фима Бляйшиц.

В течение месяца, методично и крайне осмотрительно, избегая оперов, дружинников, а главное – страшное КГБ, подозревая стукача в каждом и тщательно выстраивая каждый вечер несокрушимую версию абсолютной своей невиновности в случае если чего, не появляясь дважды в одном и том же месте, прощупывал и познавал он все ходы.

Открытия, которые насмешили бы своей наивной очевидностью барыг и знатоков уголовного мира, он делал самостоятельно, сам искал решений и – новичок, не знающий законов, не ведает и запретов, – шел в мыслях и планах дальше тех, кто был до него и вокруг него.

Открытие первое: будь ты хоть трижды чист перед Законом, но коли контакты с иностранцами негласно не одобряются и находятся под особым контролем, тебе всегда сумеют поломать ребра в милиции и вломить срок, или в крайнем случае накатят телегу и уволят из комсомола и с работы, а потом от черного досье век не избавишься.

Вывод – древний: не подмажешь – не поедешь.

Он занялся определением тех, кому надо совать в лапу, и поисками путей к ним.

Швейцары брали поголовно, но поголовно же и стучали.

Поголовно были осведомителями ГБ гиды и шофера «Интуриста» (и остаются поныне).

В каждом кабаке и в каждой гостинице постоянно дежурили менты и гэбэшники в штатском.

Практически всех иностранцев «водили» беспрерывно.

– От всех на свете не отмажешься, – поучительно сказал Фима полюбившемуся ему Пржевальскому. – Информация – королева бизнеса.

Трудно сказать, знал ли он тогда о Ротшильде, которому голубок принес весть о Ватерлоо в несведущий Париж, но он уяснил это задолго до пресловутого информационного бума.

«Платить надо хозяину, а не шестеркам». В безумном приступе гордыни он мечтал взять на содержание прямо начальника ленинградского КГБ. К чести его надо отметить, что здравый смысл одержал верх, и он для себя остановился на противоположной модели: платить именно шестеркам,

а уж они пусть сами, блюдя свои интересы, разбираются со своим начальством. Если он сумеет платить им больше, чем начальство, то и работать, естественно, они будут на него, а не на начальство.

Эта удобная и естественная пирамида с широким основанием и узким верхом стоит и поныне.

Второе же открытие заключалось в следующем: не крутись сам, заставляй крутиться других – ты один, а их много.

Он насел на сбор информации, прокачивая всех одноклассников, друзей детства, их друзей и родственников: он выходил на систему «Интуриста» и треста гостиниц.

По ночам он срочно учил английский; знакомая учительница ставила произношение.

В транспорте на работу и обратно обдумывал схемы всеохватной и подстрахованной сети.

По вечерам и выходным фарцевал, не стремясь урвать большой кусок сегодня, но дальновидно проверяя варианты для светлого завтра.

Бабки летели вихрем: постановка дела требовала расходов.

Он тренировал зрительную память, как примерный ученик разведшколы: в театрах и кабаках уже отмечались им маловыразительные постоянные лица без признаков любви к искусству и разгулу.

Шмотки сдавались сначала в комиссионки, он строго чередовал магазины по списку.

Через полтора месяца он ощущал себя абсолютно другим человеком – да он и был другим: деловар с башлями. Это категория особая, это по натуре эдакая акула-истребитель, гроза Уолл-стрита и мафии одновременно, беспощадный профессионал-боец за денежные знаки, притворяющийся окушком под сплошным и частым советским бреднем. Волк и волкодав в одном лице. Короче, характерная биологическая особь. Где Закон не защищает бизнес – там бизнес показывает Закону, кто такая мать кузьмы и кто платит за музыку, под которую Закон пляшет.

5. Бросай крючья

Была некогда такая команда на флотах, когда крючья с тросами летели в такелаж и фальшборт вражеского корабля и, вцепляясь, подтягивали его вплотную для абордажной добычи.

Первым сел на Фимин крюк шофер интуристовского автобуса, который, как все наши шофера, любил после работы крепко врезать и плотно закусить, вознаграждая себя за вынужденное воздержание при баранке.

Шофера Фима целенаправленно встретил в одной компании, где и подружился с ним до чрезвычайности, имея приготовленную дополнительную бутылку в кармане плаща на вешалке и приготовленную речь на как бы развязавшемся языке: он завидует шоферу, его мужской работе, полной

интересных впечатлений, его заработку и эффектной мужественной полноценности.

Дружба продолжилась назавтра в «Метрополе», куда Фима пришел со знакомой, каковая безусловно и предпочла мужественного шофера ему, а Фима оплатил счет и посадил их в такси.

Шоферу понравилось как угощение, так и знакомая, и Фиму он презирал за ничтожество, но от повторного приглашения не отказался, ощущая себя, однако, не только высшим существом, но слегка все-таки обязанным этому доброму растяпистому еврею существом.

Выпив и размякнув, он Фиме посочувствовал и поучил его жизни, и согласился помочь ему в осуществлении мечты – доставании модного заграничного пиджака.

За пиджак он получил более, чем рассчитывал, и через недельку также более получил за шуйзы – дивные такие туфельки на толстенном микропоре.

Если на свете и затаился где-либо в темноте шофер, не любящий левых денег, так это был не тот парень. Поднатужившись в арифметике, он вычислил, что его заработок удваивается, и испытал к Фиме бережливое уважение. Совместное питье вскоре кончилось, чего нельзя сказать о совместном бизнесе.

Кстати, шофер вскоре пить тоже бросил, как это ни смешно. Поскольку портят человека, как признали наконец и на родине социализма, не деньги, а их отсутствие, то шофер

с деньгами вдруг ощутил реальность, так сказать, голубой мечты любого, опять же, шофера, – иметь собственный автомобиль, купил на фарцованные деньги «Победу», переехал в одну из первых в Ленинграде отдельных кооперативных квартир и стал до невозможности порядочным гражданином. Он и поныне жив, на пенсии уже, живет у метро «Электросила» и по воскресным утрам, опохмеляясь у пивного ларька (уж субботняя банка – это святое), все порывается рассказать какому-нибудь новичку о Фиме как примере гениальности и масштабности личности, несмотря на национальную ущербность.

А шмотки он сдавал, после первых встреч, уже не самому Фиме, а «мальчику», из улично-ресторанных бездельников, которого Фима, опять же, хорошо угостил, и повторил, и предложил в третий раз, но сначала – рассчитаться невинной переноской невинных вещей до парикмахерской, где портфель с барахлом был отдан расторопной мастерице. Первая цепочка заработала: Фима лишь получал от парикмахерши процеженные деньги, которые и распределял по справедливости между всеми трудящимися в этой маленькой фирме.

Цепочка, естественно, попыталась отделаться от босса как от нахлебника и захребетника и утаить груз, но на то и босс, чтобы уметь ремонтировать цепочки: мальчик, конечно, отнюдь не хотел знакомить шофера с парикмахершей, чтоб не стать ненужным самому, и именно он-то, связующее звено, возомнившее себя мозгом, был по безмозглой-то голове и

другим нежным органам жестоко отметелен приблатненным с Фиминого двора (и вся-то любовь за две бутылки, а бойцу одно удовольствие) и предупрежден о неполном служебном соответствии: в следующий раз вообще в канал сбросят.

И к первой цепочке стали быстро подсоединяться разнообразные другие: фирма превращалась в концерн.

Рисковые одиночки поняли и оценили преимущества организации труда и гарантированного заработка. Ершистых карали беспощадно. Нищих уличных милиционеров купили на корню: в такие мелочи Фима быстро даже перестал вникать.

6. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

И вскоре это выглядело так:

К дому двадцать два по Восьмой линии подваливал сияющий интуристовский автобус. Оттуда выходил вальяжный молодой человек с двумя чемоданами, поднимался на второй этаж и звонил в дверь Фиминой квартиры. Дверь распахивалась – и он оказывался в приемной, где за огромным столом сидел другой вальяжный молодой человек. Последний бегло смотрел на содержимое чемоданов и швырял их в угол, из ящика стола доставал пачку денег и швырял посетителю. Дверь захлопывалась, автобус уезжал.

Квартира сияла простором. Соседи были выселены посредством дорогой комбинации: дом поставили на капре-

монт, указанным жильцам предоставили новую (лучшую) жилплощадь, после чего новая комиссия признала дом годным без капремонта, а негодными объявила только их комнаты, каковые Фима и отремонтировал, оставшись хозяином двухсотметровых хоромов.

Продукты привозились исключительно с рынка и кладовых Елисеева.

В подъезде дежурила пара денди с широкими плечами.

Два телефона звонили круглосуточно и говорили непонятным разведческим языком.

А в маленькой задней комнате, привычной с детства, сидел Фима в дешевом костюмчике фабрики Володарского, в скороходовских туфлях, с часами «Победа», и координировал движение маховика.

Он не изменил своих привычек ни в чем. Мало ел, практически не пил, тихо и вежливо разговаривал, и только для передвижения, абсолютно необходимого в деле, купил старый подержанный «Москвич».

Милиционер на углу пытался отдавать ему честь. Через неделю льстивого милиционера перевели в Москву. Милиционерам вообще не полагалось знать о существовании Фимы Бляйшица. На то были мальчики.

7. Шляпа

Тем временем «открыли» финскую границу – для финнов

сюда, но уж не нашим туда, ясно. И водкотуристы валом повалили в Питер отдыхать на уик-эндах от своего полусухого закона. Общение с иностранцами росло, и Фима рос вместе с ним.

Среди прочих инспекторских вылазок отправился он по весне на Выборгское шоссе, где подвижные пикеты его мальчиков останавливали и трясли автобусы с финнами, снимая сливки еще до города, прямо после границы.

Он оставил «Москвич» на обочине перед поворотом и закурил за кустиком:

Первый мальчик сидел с бутылкой наготове в коляске мотоцикла, а второй поворачивал на костерке шашлычки.

Автобус показался, мальчики приветствовали, лица за стеклами радостно оживились и готовно откликнулись на приглашение к десятиминутному пикничку, прямо так, запросто, без потери времени и без всяких хлопот и расходов. Шофер принял полтинник, в багажнике люльки открылся ящик водки, и интернациональное братание на лоне природы естественно перетекло в алкогольно-вещевой обмен.

Фима утвердительно кивнул и направился обратно к машине.

Но в последний момент глаз зацепил что-то, заинтересовавшее его.

Из автобуса вывалился здоровенный дородный мужчина, розовый от свинины и пухлый от пива. Замшевые шорты обтягивали его откормленные ляжки, а клетчатая безрукав-

ка – нуждающуюся в бюстгальтере грудь. Он был похож скорее на тирольского немца, нежели на турмалая. Он и оказался тирольцем, а в Финляндии просто гостил.

А на голове у упитанного тирольца была шляпа.

Это была не простая, а какая-то необыкновенная шляпа.

Она была белая, как синий снег, и поигрывала искристой радугой, как бриллиантовое колье королевы. Драгоценным муаром опоясывала ее орденская лента, и горделиво подрагивало стрельчатое рыцарское перо, горя алым знаком доблести. Короче, какая-то офигенная шляпа.

Фима задумчиво вернулся на свой наблюдательный пост.

Мальчики не оставили необыкновеннейшую шляпу без внимания. Тирольцу вручили шашлык и стакан. Он выпил и закусил. Мальчик указал на шляпу и изобразил, что тирольцу представился единственный в жизни шанс толково пристроить эту в общем-то малоинтересную вещь. Тиролец качнул отрицательно.

Мальчик похлопотал еще пару минут, а после перешел к более сговорчивым гостям нашего города, бо их было сорок пять, а наших умельцев всего двое, и за часок максимум надо было всех обработать.

За кустом Фима сплюнул окурок и направился к пикнику.

Мальчики приветствовали босса навытяжку, изображая ошеломление, хотя такая проверка была в порядке вещей. Шофер посмотрел на часы, а финны – на солнце, садящееся в озере: они хотели в гостиничный ресторан, но не раньше,

чем выпьют все здесь.

Фиме постелили чехол у костерка, спихнув с места пару финнов, спешно ополоснули в озере и подали стакан, налили, сняли лучший шашлык и распечатали пачку «Мальборо». Такое отношение впечатлило окружающих. Фима встретился взглядом с тирольцем, поднял стакан и предложил жестом сесть рядом. «Это большой босс. Миллионер. Очень сильный человек», – значительно шепнули мальчики тупому тирольцу.

Тот достойно присел к Фиме и чокнулся. Они обменялись фразами о прекрасной природе и необходимости дружить. Мальчики кончали потрошить автобус, затискивали сумки в люльку.

Фима достал из кармана золотой паркер и подарил тирольцу на память. Тиролец с благодарностью обогатил свою память, но расстаться со шляпой отказался.

– О'кей, – сказал Фима. – Сто рублей.

– Найн.

– Двести. Я хочу сделать подарок одному знаменитому кинорежиссеру. Эйзенштейн, может, слышал? броненосец «Потемкин»?

– О, йа!

Тиролец соглашался слушать об Эйзенштейне, но решительно глох, когда речь заходила о шляпе.

– Тысячу, – сказал Фима.

Мальчики вылупили глаза. Финны приостановились до-

пивать.

– Слушай, ты, дубина стоеросовая, – нежно сказал Фима по-русски, обнимая тирольца за трехохватную талию. – Хряк баварский. Какого хрена тебе надо, скажи? сдай чепец и канай кирять, животное!

Он кинул мальчикам ключи от машины, и через минуту тирольца в два смычка накачивали коньяком: слева армянским, справа французским. Тиролец выжрал литр благородного напитка, довольно рыгнул, утер губы и подтвердил свое намерение никогда не расставаться с дорогой его сердцу шляпой.

– Сниму и уеду, – раздраженно предложил старший мальчик.

– Не трогай, – холодно приказал Фима.

Тиролец заплакал, перешел на немецкий и стал сбивчиво бормотать романтическую историю, связанную с этим необыкновенным головным убором.

– Гитлер капут! – оборвал Фима. – Что ты делал во время войны? Служил в СС? Воевал в России?!

– Найн! – завопил тиролец. – Их бин швейцарец!

– Швейцарская гвардия французских королей, – польстил эрудированно Фима. – А в армию тебя не взяли по здоровью? – презрительно хлопнув по заколыхавшемуся животу. – Сердце больное, небось? еле ходишь?

– Я был спортсменом, – обиженно заявил тиролец.

– И что за спорт? кто больше пива выпьет?

– Ватерполо! Я даже играл за сборную Швейцарии!

– Такая туша умеет плавать?

– Жир потонуть не даст, – презрительно включился старший мальчик. – Пора ехать, Ефим Данилович.

– Да я, наверное, плаваю и то лучше, чем ты, – сказал Фима.

И вот Фима с раздразненным, как бык, тирольцем начинают сдирать с себя одежды. Вода в озере Красавица, что по Выборгскому шоссе, заметьте, и летом ледяная, а в мае просто в свиное ухо закручивает.

Фима остается в семейных трусах и первым шагает к берегу, кося на тирольца. Старший мальчик заводит мотоцикл, младший делает стойку на шляпу.

Тиролец остается в плавках и в шляпе. И в таком виде идет к воде.

Шофер непроизвольно гогочет. Фима бледнеет. Мальчик спотыкается.

В воде Фима сдергивает с тирольца шляпу и бурля воду, как сумасшедшая землечерпалка, суматошно плывет вперед. Тиролец делает несколько мощных гребков кролем и начинает задыхаться в обжигающе холодной воде. Фима, взбивая пену, безоглядно прет по прямой, и на голове его сияет белоснежная дивная шляпа. Тиролец пытается его нагнать, оглядывается, до берега уже далеко, финны машут и свистят, мальчики стоят, расставив ноги, в позе наемных убийц. Тиролец пугается, останавливается и начинает потихоньку то-

нуть. Фима прет, дробя и разбрызгивая багровую солнечную дорожку, в безумную даль.

Мальчики впадают в панику, прыгают на месте, толкают финнов в воду – спасать тонущего. Пьяная орава лезет в воду, ухает, орет, булькает, выволакивает ограбленного шляповладельца и отчаянно галдит.

А Фима суетливо барахтается где-то уже посередине озера, еле голова чернеет, а озеро там километра под два шириной, а длиной – и краев не видно, оно длинное, километров в пятнадцать, не обежишь.

Мальчики в ужасе: утонет босс – заказывай гробы, головы не сносить. Прыгают, матерятся, вопят, врезают от отчаяния по морде потрясенному тирольцу, скачут на мотоцикл и прут по лесу и болоту вокруг озера на тот берег, потому что шеф, при всей беспорядочности и неуклюжести своих судорожных движений, продолжает продвигаться по прямой, и уже ближе к тому берегу, чем к этому, явно не собираясь поворачивать.

Подскакивая и кренясь на корнях, обдираясь в зарослях и буксуя в болоте, измученные поспешностью и страхом, они выбираются из чащи на противоположный берег, и видят, что Фима уже в сотне метров от спасительной суши, глаза его бессмысленно вытаращены, а изо рта и носа идут пузыри. Мальчики скачут в воду, выволакивают босса, в бешеном темпе проводят спасательные работы: зачем-то от растерянности энергично проводят искусственное дыхание, льют

в рот водку из горлышка, со всех сил растирают только что сфарцованным свитером, расшвыривают барахло из сумок, укутывая Фиму во все самое теплое.

И все это время, в изнеможении подчиняясь их заботливым действиям, Фима бдительно следит за наличием на голове драгоценной шляпы.

Его посадили в люльку, пошвыряв не помещающееся барахло, довезли до машины, доставили домой, причем мотоциклист понесся вперед, и дома Фиму уже ждал личный врач, горячая ванна, перцовый пластырь, ром, малина, горчичники, аспирин, черт, дьявол, нервничающие приближенные и испуганная мама.

– Фимочка, – спросила она, – что это у тебя на голове?

– У тебя недавно новые очки, – ответил сын. – Их подобрал вполне приличный профессор, он произвел на меня хорошее впечатление. Это шляпа, мама. Я что, не могу носить шляпу?

Он стоял в твидовых брюках, верблюжьем свитере под коричневой кожаной курткой, в клетчатом шарфе на шее и высоких туристских башмаках на ногах, щурясь сквозь запасные очки взамен утонувших, и на курчавой голове его горела царской короной бриллиантовая шляпа.

Ночью мама поила его горячим молоком и разговаривала.

– Зачем она тебе? – спрашивала она.

– Нравится, – со странным выражением отвечал он.

С тех пор без этой шляпы его никто никогда не видел.

8. Зэк

Раздраженный медленным продвижением к коммунизму, Хрущев решил, что одна из тому причин – что граждане многовато воруют, и ввел новые законы за это, придав им обратную силу, – вплоть до высшей меры. Были велены показательные процессы, пару человек шлепнуть и нескольких наказать примерно, для неповадности другим.

Фимина судьба была решена на высшем ленинградском уровне, хотя его дело не приобрело такого всемирного звучания, как дело Бродского: что ж, удел поэта – слава, удел бизнесмена – деньги; каждому свое.

К нему явились домой, для пущей важности – ночью, предъявили постановление и ордер, перевернули все вверх дном и отконвоировали в Кресты. Они знали, с кем имеют дело, и на всякий случай были вежливы. Он тоже знал, с кем имеет дело, причем знал заранее, но он был прикрыт и отмазан слишком хорошо, куплены были все, и он счел правильным спокойно ждать и подчиниться Закону, чтобы потом тем чище утвердить свою чистоту и невинность.

На суде адвокат пел, как Карузо. Свидетели мычали и открещивались. Зал рукоплескал. Прокурор потел униженно. Фима действительно выходил пред лицом Закона чище, чем вздох ангела. Тем не менее двенадцать лет с конфискацией он огреб, потому что этот приговор был заранее вынесен в

Смольном.

Для лагеря, в который его этапировали, это был небывалый и длительный праздник, – точнее, для начальства лагеря. Потому что ленинградская мафия, блюдя честь корпорации, взяла начальство на содержание. Ежемесячные оклады и подарки – машинами, гарнитурами, телевизорами – получали начальник колонии, зам по воспитательной работе, начальник отряда и прочие. Авторитетные воры вдруг стали получать посылки с деликатесами и водку от неизвестных благодетелей. Фима жил, как принц Уэльский, – его оберегали от пушинок. Он был определен библиотекарем, жил в собственной комнате, не ходил на разводы, не брякал палец о палец, не прикасался к лагерной жратве, носил собственное белье, слушал радио, читал книги и занимался гантелями. Однажды, забавы ради, Фима пригласил к себе на рюмку коньяка начальника колонии и главвора зоны одновременно, видимо наслаждаясь светским профессионализмом беседы и пикантностью ситуации. Прислуживала на этой исторической вечеринке официантка из офицерской столовой, каковая и оставалась спать с Фимой, ценя французские духи, французское белье, деньги, и более всего – отдельную однокомнатную квартиру в единственном благоустроенном доме в поселке: в ее зачаточном сознании Фима был чем-то средним между царем Соломоном и Аль Капоне, если только она когда-нибудь слышала об этих двоих.

Фиминых миллионов хватило бы, чтобы купить всю

Пермскую область и обтянуть ее лагеря золотой проволокой. Миллионы верно работали на него, как он работал раньше на них, и на воле за него хлопотали.

В результате седьмого ноября шестьдесят седьмого года он с удовольствием прошел в замыкающей колонне демонстрантов по Красной площади, помахав сменившимся за три с половиной года его отсидки вождям на трибуне Мавзолея, патриотично выкрикнув: «Слава труженикам советской торговли!» и громко поддержав не менее патриотический призыв «Да здравствуют славные советские чекисты!»

Он был одет в кирзовые ботинки, синие холщовые брюки и черный ватник. Его окружали несколько крепких молодых людей со значительными взглядами. Внедрение его в колонну остается загадочным, но оттого не менее достоверным фактом.

О молодецкой русской тройке Брежнева, Косыгина и Подгорного он отозвался так: «Они бы у меня не поднялись выше смотрителей районов».

Непосредственно с Красной площади он отбыл на Ленинградский вокзал, где друзья ждали его в абонированном целиком спальном вагоне с пиршеством, закончившимся как раз на Московском вокзале в родном Ленинграде.

Фима покачивал кирзачом, нехотя цедил «Наполеон», лениво пожевывал икру и рассеянно выслушивал доклады, возвращаясь к своим обязанностям. Большая амнистия к 50-летию Советской власти прервала беззаботный период его

жизни, который позднее он вспоминал как самый счастливый.

И на голове его сияла, разумеется, невредимая, неприкасаемая шляпа, которую он с честью пронес сквозь все испытания. Она составляла дивный контраст с зэковским одеянием, на Красной площади балдели и оглядывались.

9. Любовь

Свой путь земной пройдя до половины и вступая в гамлетовский возраст, Фима, кремневый деляга, влюбился, как великий Гэтсби.

Анналы не сохранили ее имени, и наверняка она того не стоила. Ничем не приметная милая девочка, которая любила другого, который не любил ее, и слегка страдала от Фиминой национальности в неказистом воплощении.

Фима потерял свою умную голову и распушил свой сюрреалистический хвост. По утрам ей доставляли корзины цветов, а по вечерам – билеты в четвертый ряд, середина, на концерты мировых знаменитостей. Он снимал ей люксовые апартаменты в Ялте и Сочи и заваливал их розами, а под окнами лабал купленный оркестр. Это превосходило ее представления о реальности, и поэтому не действовало.

Лощеные хищники на Невском кланялись ей, а подруги бледнели до обмороков; это ей льстило, как-то примиряло с Фимой, но не более. Он купил бы ее за трехкомнатную квар-

тиру, «Жигули» и песцовую шубу: дальше этого ее воображение не шло, прочее воспринималось как какая-то ерунда и пустая блажь. Как истинный влюбленный, он мерил не тем масштабом.

Когда выяснилось, что она собирается замуж за своего мальчика, уеденного соперничеством всемогущего миллионера, Фима пал до дежурств в подъезде, умоляющих писем и одиноких слез.

На свадьбу он подарил им через третьи руки ту самую квартиру и две турпутевки в Париж. А сам в первый и последний раз в жизни нажрался в хлам, поставив на рога всю «Асторию», а ночью снял катер речной милиции и до утра с ревом носился по Неве, распевая «Варяга», причем баснословно оплаченные милиционеры должны были подпевать и изображать тонущих японцев.

10. Венец и конец

А тем временем прошла ведь израильско-арабская война шестьдесят седьмого года, и все события годочка шестьдесят восьмого, и гайки пошли закручиваться, и в Ленинграде, как и везде в Союзе, но довольно особенно, стал нарастать вполне негласный, но еще более вполне официальный, государственный то есть, антисемитизм, три «не» к евреям: не увольнять, не принимать и не повышать, на службе, имеется в виду; и пошла навинчиваться спиралью всеохватная и

небывалая коррупция, облегчающая расширение дел, но раздражающая буйной неорганизованной конкуренцией, на подавление которой стало уходить много сил и средств, и исчезал уже в деле былой спортивный азарт и кайф, деятельность бесперебойного механизма концерна стала отдавать повседневной рутиной; и началась понемногу еврейская эмиграция.

И Фима решил сваливать. Он выработал Ленинград и Союз, здесь он поднялся до своего потолка, и пути дальше не было, и стало в общем неинтересно.

Дело надо было продавать, а деньги превращать в валюту. Информация разошлась по Союзу. Колесо завертелось. Все рубли были превращены в максимальной ценности камни. Камни было выгоднее обратить в доллары на месте.

Уже пришел вызов, и было получено разрешение, и куплены билеты на «жидовоз» Ленинград-Вена, что празднично и нагло взмывал по четвергам из Пулкова.

Последнюю операцию Фима проводил лично. Речь шла о чересчур уж гигантских деньгах, и здесь доверять нельзя было никому.

Славным летним днем, под вечер, он вышел из своего дома и по Большому проспекту пешочком двинулся к Невскому. Он помахивал пузатым старым портфелем, из которого спереди торчал край березового веника, а сзади – пивное горлышко. Все знали, что он любил попариться. Точно так же все знали, что он никогда ничего не носил с собой

из ценностей и барахла, и никогда не имел при себе суммы крупнее ста рублей: на то имелись мальчики, а он был чист и ни к чему не причастен, скромный стопятидесятирублевый инженер. Благодушно улыбаясь, он погулял по Невскому до молодой листвы на тихой улице Софьи Перовской, и на протяжении всего маршрута через каждую сотню метров скользил взглядом по очередному мальчику из сторожевого оцепления своих боевиков.

Во внутреннем кармане у него лежал мешочек с отборными бриллиантами и изумрудами, а в подмышечной кобуре – взведенный «Макаров».

Он шел пешком, потому что на улице, да в час пик, человека труднее взять и легче уйти, чем в транспорте.

Никто не был посвящен в его тайну. В квартире на улице Перовской ждали человека с товаром, не зная, кто это будет; посыльный. Охране вообще знать ничего не полагалось. Портфель был набит газетами.

Дом был оцеплен его людьми. За окнами следили. Максимальное время его пребывания там было им сказано. Выйти он должен был только один.

Он благополучно вошел в квартиру, где его ждали.

Он пробыл там положенное время.

Вышел один и спокойно зашагал домой тем же путем.

Камни были сданы.

Он был упакован пачками долларов, как сейф Американского Национального банка. Портфель был набит долларами

плотно, как кирпич. Он нес состояние всей своей жизни.

Плюс тот же демократично торчащий банный веник и пивное горлышко.

Он шел спокойно, и через каждые сто метров мигал своим мальчикам. И мальчики мигали в ответ и снимали оцепление, освобождаясь по своим делам.

Так он дошел до своей линии и позволил себе закурить. И у подъезда глубоко вздохнул, кивнул мальчику на противоположной стороне, выкинул окурок и взялся за ручку двери.

И тут услышал за спиной властное и хамоватое:

– Стойте!

И ощутил, увидел на своем плече грубую крепкую руку в милицейском обшлаге.

С деревянным спокойствием он отпустил дверь и обернулся.

– Ну что? – осклабясь, спросил милиционер.

– Простите, не понял? – ровно ответил Фима.

– Как называется то, что вы делаете? – карающе и презрительно допросил мент.

– Что же я делаю? – еще ровнее спросил Фима и поднял брови.

– А вы не догадываетесь?!

– О чем? Я иду к себе домой.

– Домой, – со зловещей радостью повторил милиционер. – А это что?

– Это? Бутылка пива. После бани.

– Бани, значит. А в портфеле что?

– Мыло, полотенце, мочалка и грязное белье, – ровно до удивления сказал Фима. – А что?

– Что?! – грянул милиционер. – А эт-то что?! – И ткнул пальцем к окурку, брошенному в метре от урны. – Окурок кто на тротуар швырнул?! – слегка разбудоражил он в себе сладкое зверство справедливой власти над нарушителем, тупой лимитчик, белесый скобской Вася, вчера из деревни, осуществляя власть в явном своем превосходстве над этим… жидовским интеллигентом в шляпе.

– Простите, – вежливейше сказал Фима и только теперь услышал нарастающий потусторонний звон.

Он наклонился и взял окурок, чтоб бросить его в урну, и в этот миг его шляпа свалилась с головы прямо на асфальт, и нечем было ее подхватить, потому что одной руке нельзя было расстаться с портфелем, а другой следовало обязательно кинуть сначала окурок в урну. И, наклоненный, он увидел, как большой, грубый, черный, воняющий мерзкой казенной ваксой милиционерский сапог глумливым движением близится, касается белоснежной драгоценной шляпы и, оставляя отметину, откидывает ее по заплеванному асфальту в сторону.

Звон грохнул беззвучными небесными литаврами, Фима выдернул из-под мышки пистолет и трижды выстрелил милиционеру в грудь.

Потом поднял шляпу, медленно и бережно вытер ладонью

и надел на голову.

Не взглянув на тело, растер ногой окурок и тихо вошел в подъезд, аккуратно закрыв за собой дверь.

Двое мальчиков спускались навстречу с площадки с раскрытыми ртами.

– Свободны, – устало сказал им Фима. – Вас здесь не было. – И стал подниматься по лестнице к себе домой.

– Мама, – сказал он, – я хочу отдохнуть. Если позвонят – проводи ко мне.

На суде, уже после его последнего слова, расстрел шел однозначно, судья не выдержала:

– Ну скажите, за что вы все-таки его убили?

– За шляпу, – ответил Фима.

Марина

1. Девочка легкого поведения

Родом Марина была из Соснового Бора, а это не так чтобы совсем Ленинград, а вроде бы и сливающийся с ним городок сам по себе. И, как все небольшие городки-районы, скучноватый и известный его жителям насквозь, каждый как на стекле: кто пьет, кто гуляет, кто сколько зарабатывает.

Тускло и занудно в таком месте красивой девочке, кото-

рая почуяла себе цену и возмечтала такую цену от окружающей жизни получить. Либо правильный двухсотрублевый муж с семейной круговертью, либо разведенный коньяк и дрянная группа в местном кабаке-стекляшке. Жизнь…

Марина была девочка не так чтобы очень красивая, но при всех делах, без изъянов и с известным шармом. В общем, на крепкую четверку: ножки стройные, личико овальное – милая блондиночка, и даже с мыслью в глазах.

Мысль эта была о том, что жизнь дерьмо, и надо как-то устраиваться, чтобы получить от нее удовольствие и чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

В пятом классе ее начали на переменах хватать за красиво развитые вторичные женские половые признаки, норовили и за первичные, к седьмому классу она прониклась своим женским предназначением, потому что больше-то проникаться ей было нечем, не считая комсомольской идеологии.

С восьмого класса Марина стала гулять. Или трахаться, – какой оборот вам больше нравится. Ей нравилось и то, и другое: в макияже, в попсовом прикиде, канать по центру с видным, хорошо одетым мальчиком старше нее, и чтоб он мог любому дать по морде и имел бабки красиво поужинать в кабаке.

А еще в идеале чтобы – цветы, шампанское и машина. Это кайф; чего еще-то.

И хорошо покувыркаться в койке для нее было состоянием желанно естественным; и то сказать, развитая женщина в

пятнадцать лет – чего ж тут неестественного. Ей нравилось свое красивое тело, и красивое мужское тело, и наслаждение, и тот прекрасный и волнующий смысл, который оно придавало – еще в перспективе – самым невинным словам и поступкам.

Мать пару раз, вопя на весь двор: «Я тебя отучу блядовать!!», таскала ее за волосы и лупила по щекам, согласно канонам здорового народного воспитания, пока не смирилась с судьбой, вспомнив, вероятно, что смирение есть первейшая христианская добродетель, особенно когда все равно ничего не получается изменить. Ей некогда было убиваться поведением дочери, ей работать надо было и дом держать. А отец как пил, так и продолжал, и, жутко матеря шлюху-дочь, про себя, естественно, мечтал отодрать ее подруг.

– Ты думаешь, сука, как дальше жить будешь?!

– Думаю.

– И что же ты думаешь?!

– Или на панель, или замуж. Прокормлюсь. За сто рублей работать не буду, не волнуйтесь.

– Что ж это ты за сто-то не будешь?

– Да на одну косметику и белье больше уходит.

– Ах, вот как! А что ж ты умеешь делать-то, что сто рублей тебе уж и мало?!

Марина ответила, что она умеет делать. И это она действительно умела, все парни знали и друг другу рассказывали.

И ее даже никак нельзя было считать порочной. Есте-

ственная, как дитя природы, цветок на городском асфальте. Даже милая.

2. Влипла

Разумеется, она довольно быстро залетела, то бишь забеременела, и неделю в ужасе прорыдала по ночам. От мальчиков она не дождалась сочувствия: «А я что у тебя, один был?..», а от родителей уж не могла рассчитывать дождаться понимания: «Ну что, нагуляла пузо, шлюха?!»

Разумеется, в женской консультации она встретила внимания и такта не больше, чем встретит окурок в пылесосе, если ему понадобится справка о простуде. «Уже третья школьница сегодня…» – сказала у умывальника за занавеской врачиха медсестре. «Дорвались до сладкого. Ничего, теперь узнает, что это такое», – ответила сестра.

Марина узнала. В абортарии, будничном, как очередь за водкой, на нее цыкнули, наорали, без всякого наркоза выпотрошили, как курицу: «Следующая!» – равнодушно, как к животному, и брезгливо, как к падали.

Плывя от смертной тоскливой боли, она доползла до туалета, непереносимо хотелось курить, затянулась под форточкой, вспомнила с резанувшей жалостью к себе, как варилась заживо в горячей ванне с горчицей, пережигая нутро водкой, надеясь избавиться так, без кошмарной операции, и с дикой ненавистью, расчетливой злобой подумала о них, которым

кататься, не саночки возить.

Но и саночки, как известно, бывают разные.

Потому что вскоре она подцепила триппер, уж это как водится, уж без этого тоже не бывает, и снова сполна прошла весь круг мучений и унижений. И «приведите сначала всех партнеров», и «сообщим в школу по месту учебы», и «вы несовершеннолетняя, придите с родителями».

И после этого с циничным мазохизмом ощутила у себя на лбу соответствующее клеймо.

И тут-то ее и прихватил Карла, решив, что она уже вполне созрела для работы.

3. В борделе

Карла содержал нормальный публичный дом.

То есть дома как такового не было, а было полтора десятка девок, которых подкладывали в местной гостинице под командировочных и летчиков, приезжающих из ближнего гарнизона на выходные попить с удобствами водки.

Марина трепыхнулась, но ей врезали по почкам, показали бритву, изнасиловали втроем, и объяснили, что выбор ее – или быть изуродованной и носу из дому не показывать, или гулять сейчас спокойно в тридцать восьмой номер и спать с приятным нестарым парнем.

– А деньги?

– Тебе за удовольствие еще и деньги?

– А деньги получаем мы, лапочка. Будешь хорошо себя вести – будешь всегда иметь на тряпки и такси.

И полтора года, проклиная судьбу и все спокойнее привыкая к ней – «нормально», – Марина ишачила на Карлу, за червонец с ночи да иногда премии от щедрот. Из дому она давно ушла, снимала квартиру вдвоем с подругой по работе.

Через год план ее выкристаллизовался. Улучить день, вечер, момент, когда Карла будет нежно настроен и явно при деньгах, она, наведя на себя полный марафет, нежно напрашивается и спит с ним, только с одним, убивает, берет все деньги и резко срывается на юг, в Одессу. Ищи ветра в поле.

Она купила длинную пилку для ногтей, с массивной ручкой под слоновую кость, наждачным бруском неторопливо заточила острие и навела лезвия, и для тренировки вонзала иногда ее в спину диванному валику, обняв его двумя руками.

Она даже повеселела и вновь стала иногда выглядеть беззаботно и свежо, как в пятнадцать лет. Она научилась терпеть, а момент неизбежно должен был наступить раньше или позже.

4. Иностранцы

Но тут в жизни Соснового Бора произошли два грандиозных события, надолго взбудораживших общественность и в корне изменивших судьбу Марины.

Во-первых, Карла сгорел, и публичный дом распался. Как всегда бывает, зацепили его на мелочи, он вовлек слишком несовершеннолетнюю дочку слишком высокопоставленного и энергичного папы, который плюнул на купленную милицию и сумел подстегнуть к делу КГБ, которое всегда радо вставить милиции шпилю в нежное место. Дело решили не раздувать, и так хай до заграницы дошел, что в Ленинграде не просто проституция, а целые публичные дома, и Марина осталась целой-невредимой и в полной свободе.

Боже, что за счастье – эта свобода, пока не сообразишь, что денег-то все равно нет.

Во-вторых же, в Сосновом Бору решили строить новый химкомбинат, да не просто комбинат, а крупнейший в Европе комбинат химического волокна. Об этой новой победе советской промышленности министр окружающей среды Италии высказался по телевидению так: «Сооружение этого комбината будет очень способствовать сохранению окружающей среды Италии». Сюжет этот сдуру, как пример нашего удачного международного сотрудничества, прокрутили в программе «Время», за что ее главный редактор и был уволен с работы. Мол, соображать же надо, нельзя же так, вслух, говорить, что этот комбинатец все кругом угробит.

Строить его, конечно, решили прямо в городе, потому что это гораздо экономичнее, чем вдали: магистрали тянуть не надо, транспорт туда пускать, дома для рабочих там ставить, и так далее. Экономика должна быть экономной.

А для руководства строительством решили пригласить иностранцев вместе с ихними иностранными проектами. Мол, вы нам строите комбинат, а мы вам потом поставляем его продукцию. Гениально и просто, как вся советская власть: в наваре имеем бульон от варки яиц.

Для иностранцев выстроили прекрасную новую гостиницу, подразумевая ее люксовой.

Вообще с этими иностранцами интересно вышло.

Строить первую очередь выписали англичан. Англичане приехали, покрутили своими английскими носами, сделали какие-то пробы воздуха и воды, и сказали, что в гостинице они жить не будут, тем более что она не соответствует договорным условиям, туристский класс, и вообще они в центре жить не будут, слишком загазован, а пусть-ка им построят новую гостиницу, на окраине, в лесочке.

И им, колонизаторам недорезанным, построили дивный небольшой отель в лесочке, и они поруководили стройкой и пустили первую очередь комбината.

После чего в Министерстве посчитали убыли и прибыли, долго вопили, кто виноват в убытках, и строить вторую очередь пригласили фээргешников.

Фээргешники приехали, нюхнули заводского газку, заколдобились, особенно один, который еще в войну с газком дело имел в лагерях, этот нюхнувший больше всех и выступал, что здесь жить нельзя, этим дышать нельзя, и если хотят, чтобы они работали, то пусть создадут им жилье не менее чем в

пяти километрах от комбината, а в этом бараке в полукилометре от трубы пусть живут приговоренные к смертной казни за преступления против человечества.

И им, конечно, построили два новых дома вдали, и возили на автобусе, потому что неустойка дороже бы встала, тем более они не требовали ничего, что не входило бы в нормальные технические условия для такого комбината.

Немцы, кстати, были безумно обрадованы черным обменным курсом бундесмарки на рубли и невероятно низкими ценами на спиртное и шоколад, так что один из них даже умер, приняв русскую дозу вина «Красное крепкое», хотя и закусывал его шоколадом, а может, он от того шоколада и умер, черт его знает, но только его советских собутыльников, вполне здоровых назавтра после опохмела, уволили с работы, хотя другие немцы хотели судить их за предумышленное убийство, и категорически с тех пор запретили пить с немцами, бо они оплачены валютой, а переморить их любой дурак сумеет, нашим-то рационом.

Строить третью очередь пригласили японцев, как самых технологичных, а также скромных и неприхотливых в быту.

Неприхотливые японцы еще в автобусе повытаскивали счетчики Гейгера и прочей дряни, счетчики исправно затрещали, и очень громко, японцы завопили, что двери автобуса скорей однако закрывать надо и подальше ехать, тут без спецодежды и масок нельзя находиться, и им необходимо дать жилье не менее чем в пятнадцати километрах; и этим

самураям таки поставили коттеджи в лесу в пятнадцати километрах от комбината, а время на дорогу они засчитывали в рабочее, причем это было по закону, что особенно бесило наше начальство, хотя одновременно и вселяло в него несколько подобострастное уважение к японцам как к людям, уверенно плюющим тебе в протянутую мозолистую руку и ставящим себя на высоте.

Но вернемся, однако, к англичанам, этим сынам гордой нации первопроходцев и завоевателей, авантюристам длинного фунта стерлингов, принявшим на себя первый удар сосновоборского местного колорита. До этого Сосновый Бор был закрыт для иностранцев, как город секретный, имеющий атомную электростанцию и истребительный аэродром.

Первыми сделали стойку на англичан официанты и проститутки. И те и другие хотели заграничных вещей и валюты, причем ради этого проститутки были готовы мыть грязную посуду, а официанты – спать с клиентами.

Англичане находили еду несъедобной, количество питья невообразимым, а цены нереально низкими. И их чаевые в валюте приводили официантов в экстаз. При виде англичан своих посетителей просто гнали вон за двери, унося со стола недокушанные блюда и суя им недопитые бутылки в карманы: дома допьешь, родимый, столик заказан.

Проститутки же казались им чрезвычайно красивы и свежи, бо вообще практически все англичанки, как прекрасно знают все в Союзе, похожи не на лошадей даже, а скорее на

лошадиные скелеты, иногда разве что украшенные веснушками. Что же касается запрашиваемых ими цен, то, как выразился один техник из Глазго, «у нас за такие деньги ты можешь переспать только с кошкой, и то лишь при том условии, что у нее нет диплома о породе».

Вот как дешево стоила в хрущевское время советская женщина. Не то ныне, когда мы поворачиваемся к свободному миру лицом, пытаясь одновременно прикрыть чем-нибудь противоположную часть тела, и огорчаясь испугу при этом Запада.

Но Марина, несмотря на свои доходы советской бедолаги, дешевой женщиной себя не считала. Ей просто нужен был хоть единственный шанс, – а там, уж она знала, она вцепится в него, как бульдог, который раньше умрет, нежели расцепит челюсти.

5. Болт

Его звали Уолтер, сокращенно-дружески, стало быть, Уолт, или Волт, по-русски и так произносить можно, а Болтом его уже потом, по созвучию, прозвали Маринины знакомые.

Он был рядовой инженер на этой стройке века и уже болтал немножко по-русски. Марина подцепила его в кабаке и женским безошибочным чутьем сразу ощутила некую добротную британскую порядочность.

Англичанин был вполне еще в цветущем мужском воз-

расте, не слишком виден собой, но и без изъянов. Любезен и не нахален. И когда она, наделав ему глазок и настроив авансов, сообщила, что он ее не за ту принял, у них в России так не полагается, она девушка порядочная и к нему не поедет, пусть он не обижается, он ей нравится, – англичанин рассыпался в извинениях, велел готовному халдею вызвать тачку, и отвез ее домой, пьяным нежным поцелуем чмокнув на прощание маленькую мягкую ручку.

Ночь Марина провела в размышлениях и мечтах, и глаза ее разгорались, а утром устроилась воспитательницей в детский сад. Теперь она не была тунеядкой, а была педагогом по младшему возрасту, самому ответственному.

На свидание англичанин прилетел радостный и торжественный, Марину неприятно задело, что он без цветов, и она сообщила, что у них принято дарить девушкам цветы. Англичанин осекся, посмотрел на нее новыми глазами, как на леди, у них в Англии цветы дарят только принцы и миллионеры, и купил роскошный букет, зауважав Марину еще больше.

Она манежила его два месяца, вызубрив книжку о манерах поведения, соглашаясь пить лишь полбокала шампанского и возвращаясь домой не позже девяти. Англичанин был в атасе от такой старомодной порядочности.

Наконец, она с ним переспала, сама стыдливость и скромность, и потом не видела его неделю. Он умирал от тоски и неопределенности. При встрече раскаялась, их отношения

бесперспективны, она молит оставить ее в покое и не ломать жизнь, заплакала, поцеловала его и убежала.

Англичанин впал в тихое помешательство. Марина была самой милой и красивой девушкой из тех немногочисленных, с кем он спал за свою жизнь, и он совершенно забыл, что дома, в Англии, у него семья, жена и двое детей, старики-родители и вполне налаженная жизнь.

Марина пришла к нему сама, сказала, что сил жить без него у нее нет, будь что будет, ей все равно, ты меня не выгонишь, милый? правда?.. и, как бы отпустив все тормоза и опьянев, показала ему ночью небо в таких алмазах, что только железная английская самодисциплина подняла его утром на работу.

Он шатался, улыбался и ничего не понимал. Он был влюблен, как цуцик.

Когда после работы он обнаружил свой номер-квартирку вылизанным до блеска, рубашки выстиранными и отутюженными, а на столе горячий обед, он впал в экстаз умиления.

Менее всего он мог знать ее прошлое, да им и не интересовался. Взрослая и самостоятельная красивая женщина, пылкая, хозяйственная и до сентиментов порядочная.

И они стали жить как муж с женой, душа в душу и еще лучше. Марина просто в лепешку расшибалась.

Проникнувшись доверием, он рассказал ей о своей семье; ну наконец-то решился. Она изобразила изумление и попыталась уйти, что он без труда пресек.

Нет, жить в таком двусмысленном положении она не может! Ах, ничего она не знает, пусть он делает с ней все, что захочет.

Англичанин написал домой душераздирающее письмо настоящего джентльмена, который на чужбине встретил свою настоящую большую любовь, среди туземных морозов, водки и дикости.

Оскорбленная жена, тоже англичанка, написала в ответ, что англичанин может убираться ко всем чертям, надеюсь, он помнит, что закон гарантирует ей алименты, а вообще пора бы одуматься и вспомнить о детях.

Родители же, старой закваски Великой Британской Империи, не чающие души во внуках, послали ему подлинное проклятие по всей проформе, с отречением от сына и лишением наследства.

Ночью англичанин плакал, а Марина его утешала и усердно пыталась жертвовать собой, а днем он ничего не соображал на работе и, презрев священную заповедь «Не стой под стрелой!», едва не был расплющен бетонной плитой.

Интересно, кстати, на какой ответ он рассчитывал, пиша свое романтическое письмо. Наверное, что ближние снимут с него тяжесть принятия решения и возьмут всю ответственность на себя; мужчинам это свойственно.

Так прошел год, и англичанину пришел срок ехать домой в отпуск. Он заблаговременно оформил Марине приглашение по всей форме, политический климат стоял в это вре-

мя сравнительно мягкий, и повез невенчанную жену знакомиться с родителями. Уж без этого он не мог; не то мира требовала его душа, не то наследства, не то Марина, стыдясь и сопротивляясь, уж больно завораживающе щебетала насчет свадебного путешествия в великую Англию.

Родители увидели Марину и прибалдели. Они не рассчитывали, что их заурядному сыну может достаться такая милая, обаятельная и домовитая жена. Они смирились, поняли, оценили, растаяли и полюбили будущую невестку. Марина расшибалась в лепешку, угождая им и хлопоча по дому. Это был собственный дом, с камином, о шести комнатах. Еще год – и она будет леди! англичанкой в Англии и хозяйкой собственного такого дома! Балдея от магазинов и машин, она в благодарности почти полюбила своего британца как кровную часть этого чудесного мира.

Жена тоже увидела Марину и поняла, что проиграла бесповоротно.

Они вместе поплакали, посоревновались в благородстве, что так нетрудно, когда результат все равно ясен, жена рассказала Марине об его хворобах и привычках и просила беречь, а Марина клялась, что всегда сделает для нее все. Они обнялись на прощание и с ненавистью расстались.

Англичанин быстро развелся, и они с Мариной поженились.

Это была первая интернациональная свадьба в Сосновом Бору, кабак сотрясался, родной комбинат приветствовал в

понедельник поздравительным транспарантом над проходной и выделил молодоженам трехкомнатную квартиру в новом доме для строителей.

Марина уволилась с работы, теперь она была замужняя леди, грамотно и экономно купила мебель и стала считать дни до окончания контракта. По воскресеньям она ходила на рынок, ее там знали и за мелкие презенты оставляли деликатесы, которыми она потчевала своего англичанина. Он слегка поправился, залоснился и расцвел.

Он был счастлив. Его тут все уважали. Он был персоной грата. Он прекрасно питался. Они на неделю слетали в Сочи – миллионерский курорт! Он за бесценок купил «фиат» и ежемесячно откладывал приличную сумму.

Марина же методично и тщательно обрывала старые связи. Старая жизнь кончилась, наступала совершенно другая, сияющая, богатая, полная неограниченных возможностей: она штудировала каталоги европейских универмагов и туристские проспекты!

6. Левер понч

Был когда-то в профессиональном боксе такой жаргонный термин, обозначавший сокрушительный вдребезги неожиданный удар; в буквальном переводе это удар ломом.

Итак, срок контракта англичан подошел к концу, и наш англичанин заявил, что ему здесь так прекрасно, что он оста-

ется жить в Советском Союзе.

Марина свалилась в обморок, а встав попросила повторить, а то у нее что-то галлюцинации.

– Ты не понимаешь, в какой прекрасной стране вы живете, – проникновенно и отечески сказал англичанин.

– Я-а-а не понимаю?! – изумилась Марина.

– Ты еще девочка, ты ничего в жизни не видела, – ласково сказал муж.

– О господи, – сказала Марина. – Что с тобой, Болтик? Может, мясо на ужин было несвежее?

– У вас очень дешевая жизнь, – сказал англичанин.

– Да уж ничего не стоит, – сказала Марина.

– У вас очень доброжелательные, открытые, общительные люди.

– Ну-ну. Пивка попить не хочешь в день получки?

Англичанин не понял смысла этого предложения и продолжал:

– Здесь я чувствую себя нужным, полезным.

– Кому ты нужен, скажи?! Кому, кроме меня?! Ну какая, какая с тебя польза!

– Я строю огромный современный комбинат, – сказал англичанин, явно переоценивая роль своей личности в истории.

– А кому нужен твой комбинат?

– Людям, – гордо ответствовал британец.

– Все люди как люди, а ты как х… на блюде, – неожиданно

для себя ляпнула Марина нервно.

Англичанин опять не понял и поинтересовался, что это значит: насколько он слышал, это неприличное слово, не имеющее ничего общего с тарелками и подносами.

– Да уж под нос… – непонятно отозвалась жена, соображая, насколько всерьез эта напасть и как укрепить поехавшую крышу этому идиоту, жертве ее профессионального умения и советской пропаганды.

Нашла коса на камень. Англичанин тоже решил начать новую жизнь – в новой стране, с новой женой. Поистине, родственные души нашли друг друга.

Терпеливая, вытренированная жизнью, Марина не расцепляла мертвой хватки, рассчитывая укатать его мелкой сапой. Ничего, осмотрится – одумается.

А англичанин увлекся коммунистическими идеалами и с энтузиазмом готовился внести лепту в построение светлого будущего.

Его друзья пожимали плечами, а он звал их зимой в гости, охотиться в Сибири на медведя. Поистине, российская действительность отрицательно сказывается на умственных способностях представителей даже трезвейших наций.

Он сообщил о своем решении руководству, они его радостно обнимали, а после его ухода крутили пальцами у виска, на кой черт он им сдался, и звонили в Москву за указаниями.

В конце концов ему сказали, что раз срок контракта с

фирмой истек, они не могут, по нашим законам, нанимать на работу иностранцев.

– Почему? Разве вы не довольны моей работой?

– Что вы, вполне довольны. Но тут масса сложностей с законом.

– И что же мне делать?

В конце концов оказалось, что проблема решается очень просто: нужно иметь постоянную прописку, а для этого нужен советский паспорт, а для этого нужно советское гражданство.

И этот идиот принял советское гражданство и сдал английский паспорт.

С Мариной была истерика. Она напилась в лоск, набила морду англичанину, переколотила посуду, которая подешевле, и отправилась ночевать к подруге.

– Да плюнь ты на него, – утешила подруга. – Дурак – он и в Англии дурак. Может, все еще утрясется.

И все действительно утряслось, но не так, как хотелось бы: трясучка была специально обученная, советская.

Во-первых, вдвоем в трехкомнатной квартире их не прописали, а выперли в комнату в коммуналке: откуда ж, знаете, средства каждому рядовому инженеру на двоих с молодой женой давать трехкомнатную-то.

Совершенно сбитый с толку англичанин помогал Марине перевозить мебель и втискивать ее в тринадцатиметровую комнату, пытаясь постичь, что такое «соседи», когда эти

«соседи» готовят и обедают в твоей кухне, гадят в твой унитаз и моются в твоей ванной, а тебе мешают спать своей музыкой. Ему пытались объяснить, что на отдельные квартиры очередь, и когда он услышал, что эта очередь – на двенадцать лет, он пошел в управление доброжелательно разобраться в этой странной ошибке и сообщить, что он хочет купить квартиру сейчас, на собственные деньги.

Оказалось, что очередь на покупку квартир, то бишь кооперативов, пять лет, но раньше надо десять лет тут прожить, чтоб получить право покупки, а кроме того, покупать-то ему не на что не только квартиру, но и собачью будку.

Потому что зарплата его оказалась равной ста сорока рублям, согласно тарифной сетки, как специалиста с высшим образованием и стажем работы меньше пяти лет.

Два месяца дурной британец жил в своей комнатухе, получал свои сто сорок, страдал из-за Марининых скандалов и слез и питался черной магазинной картошкой и склизкими макаронами.

Вечера он посвящал финансовым расчетам, делал квадратные глаза и пересчитывал.

– Годдэм! – завопил он наконец на весь квартал. – Но ведь на такие деньги невозможно жить!!!

– Дошло до идиота, – сказала Марина.

– Но почему?

– Потому что социализм, – кратко объяснила Марина.

– В Швеции тоже социализм! – бушевал Болт.

– Поздравь с этим шведскую королеву.

– Раньше мне платили не столько!

– Раньше ты был иностранец.

– А теперь!

– А теперь ты дерьмо.

– Почему я, не иностранец, а гражданин этой страны, теперь дерьмо?!

– Потому что вся эта страна – дерьмо.

– Так уедем отсюда к черту!!! – заорал вновьиспеченный гражданин, борясь с отрыжкой и газами в кишечнике.

– Ну наконец-то, – облегченно поздравила Марина. – Теперь ты понял, что я заботилась только о тебе? Я-то и здесь могу прожить, я здесь родилась и привыкла, а ты же вымрешь, ты же цивилизованный, балда.

Англичанин заплакал над разбитым идеалом и поклялся завтра же начать готовиться к отъезду.

Вот тут-то обнаружился хрен ему в глотку, чтоб голова не болталась.

Потому что если каждый советский гражданин начнет собираться в Англию, то кто останется здесь.

– Простите, а на каком основании вы хотите эмигрировать в Англию?

– Что значит на ком основании? Я хочу там жить!

– Одного желания мало. Есть закон, есть законные основания. Воссоединение семей, скажем. Ваша семья здесь, вы советский гражданин…

Эта сказка про белого бычка крутилась еще несколько месяцев, пока до несчастного не дошло, что обратного пути в Англию ему, советскому гражданину, больше нет.

Он стал рваться к английскому консулу, был перехвачен милицией, отметелен в пикете и строго предупрежден.

Мышеловка захлопнулась крепко.

Когда до несчастной Марины дошло, что Англия накрылась по милости этого беспробудного обалдуя навсегда, она, надо отдать ей справедливость, сразу потеряла к нему всякий интерес. Она отобрала у него получку, продала его золотые запонки и знакомой дорогой отправилась в кабак – отвести душу.

Со злым весельем предалась она прежнему ремеслу, наставляя англичанину рогов куда больше, чем могло уместиться на его незадачливой голове. Домой она приходила отдыхать и переодеваться.

Доведенный до помешательства англичанин поставил ей однажды синяк, каковой она предъявила в парткоме и профкоме комбината вкупе с грамотной телегой, и англичанина разобрали на профсоюзном собрании и осудили его моральный облик. Он был на грани шизофрении, не в силах осознать происходящее.

– Посажу на два года, – холодно пригрозила Марина, – а сама останусь в этой комнате.

Коллеги сжалились над бедным Болтом и как-то после работы пригласили его с собой выпить.

Он выпил, и ему в самом деле полегчало, безысходные проблемы смягчились в сознании и отошли в туманец на второй план, жить все-таки можно было:

– Да что ты, нормально все, гляди: работа есть? есть. Жилье есть? есть. Получка есть? есть. Жена гуляет? так откоммунизди ее так, чтобы следов не оставалось – по животу, по почкам, понял? хочешь, мужика наймем за бутылку, он ее так уделает, что закается гулять, сука! Да заделай ей ребенка, пусть сидит нянчит. Да ничо, Болтяга, держи морду огурцом, не ссы – прорвемся!

И англичанин, находя отрадное забвение единственно в этом состоянии, спился с ужасающей скоростью. Он попал в вытрезвитель раз, другой, его уволили с комбината, пристроили из жалости вахтером, пил он и на вахте, и быстро научился у магазина сшибать двугривенные, упирая на свое английское происхождение; он сделался достопримечательностью Соснового Бора, любимым, как бывает в деревне любим добрый безвредный дурачок, от которого жизнь как-то интереснее.

Марина продала мебель, оставив голые стены, и решила, что раз Англия не выгорела, надо покорять как минимум Ленинград.

7. Ее университеты

Был такой анекдот:

Профессор филологии посетил публичный дом. И вот после любви, отдыхая с девицей в кровати, он заговорил с ней об единственном, что знал – о литературе. И тут девица проявляет такую начитанность, такую эрудицию и полет мысли необыкновенный, что профессор в изумлении восклицает: «Боже, девушка, что же вы здесь делаете? да вам надо… в университет, на филфак!» На что девица, потупившись от смущения, с неловкой укоризной возражает: «Ах, ну что вы, профессор, меня мама сюда-то еле отпустила…»

Анекдот этот, на филфаке же рожденный, эдакое саморекламно-циничное удальство, имеет не большее отношение к действительности, чем женское общежитие лимитчиц – к публичному дому: то есть некоторое отношение все-таки имеет, но довольно преувеличенное.

Как именно Марина поступила на филфак – история умалчивает. Экзамены, говорят, это лотерея; почему ж обязательно лотерея, есть и другие игры, менее известные и более азартные и прибыльные. Мало ли срезалось при поступлении светил-медалистов, и мало ли поступало удивительных серых дятлов, причем, что еще удивительнее – дятлов без связей. Экзамены-то у них принимали в основном такие же дятлы, испытывавшие, вероятно, родственные симпатии к собратьям по интеллектуальному увечью.

Филфак, как известно, не обременяет студента начерталками, анатомиями и прочими сопроматами; трепологический факультет, где более ценится расплывчато-общая куль-

тура и умение изящно рассуждать на отвлеченные темы.

Ценится на нем, естественно, как и везде, женская красота – «факультет невест», – но менее, чем на «мужских» факультетах, – по причине именно недостатка мужчин и избытка барышень. Да и мужчина филфаковский редко похож на мужчину: тощ, хил, очкаст, шандарахнут, либо же – будущий загранпереводчик – прилизан, обтекаем и бескостен. Настоящий мужчина, боец и пахарь, в том числе по женской части, среди филологов редкость.

Утром Марина ездила на занятия, балдея от своего статуса и своей учености – студентка университета!!! – а вечером балдела от красивой возвышенной бедности студенческого общежития: четыре койки впритык, чаек с пряниками и мудрые хрестоматии.

Зато суббота после стипендии гудела всеобщей выпивкой и танцами до середины ночи, все площадки и закоулки были заняты парочками, и каждое после этого воскресное утро комендантша Марья Ивановна сволакивала вниз с площадки перед чердачной дверью неистребимый тюфяк, скорбно голося: «Да когда ж прекратится наконец это блядство!..» На что встречный студент постарше обязательно замечал: «Помилуйте, Марья Ивановна, имеет же право студент на половую жизнь», чем неизменно приводил ее в совершеннейшее неистовство.

Марина благополучно сдала первую сессию и с некоторым даже недоверием убедилась, что не тупее многих других. А

сдав, несколько расправилась и осмелела: пора было предпринимать конкретные действия по покорению Ленинграда. Пора было подниматься на следующий уровень, ибо жизнь коротка, а молодость ведь еще короче.

Удобнее всего знакомиться на филфаке в читалке, это всем известно. Можно и книгу спросить, и сигарету, и о преподавателе, и все это крайне пристойно – естественно. В читалке Марина и зачалила Витю Захарова, пятикурсника-англичанина и члена партии, которому светила вполне заграничная карьера переводчика на приличном месте. А Вите пора пришла жениться, а то несемейного за границу не отправят. Правда, жениться рекомендуется на ленинградской прописке, но – бывают варианты…

Короче, Марина его профессионально захомутала, обаяла, поманежила, и в вечер, когда сожительницы отбыли в концерт, культуры питерской набираться, он пришел к ней в комнату в гости. Сначала они поговорили о литературе, потом раскупорили винца, потом поставили музычку, потом зажгли свечку и погасили лампу, потом поцеловались и Марина оттолкнулась, потом она села на кровать, с ногами, а он пересел к ней, а потом они, как пишут в протоколах, вступили в половую связь.

Именно тут раздался стук в дверь, дверь распахнулась, щелкнул выключатель, яркий неуместный свет вытаращился на великое таинство любви, и так что протокол здесь упомянут совсем не в качестве изыска стиля. Потому что в комнату

вдавилась в полном составе комиссия парткома и с негодованием уставилась на голый зад члена партии пятикурсника Захарова.

Вот так возникает импотенция на базе психического расстройства.

– Эт-то что такое?! – загремел прокурор – председатель комиссии Шонька. Хавло Шоньки прямо как близнец походило на захаровский зад – как формой и объемом, так и степенью выраженного интеллекта, так что если нацепить на зад роговые очки, можно получить полное впечатление о внешности доцента Шонина.

– И двери не закрыли, – со скрытой укоризной сказал Алик Скуратов, кандидат с внешностью молодого Робинзона Крузо.

Налицо была та самая аморальность, с которой и была призвана бороться парткомиссия в своих общежитских рейдах.

– Вы нескромны, – хладнокровно возразила Марина, спихнув с себя коммуниста Захарова и натянув простыню. – Мы совершеннолетние, и я у себя дома.

Шонька раздулся до размеров стратостата «СССР-1». И взмыл в предназначенную ему идеологическую стратосферу.

– Иконы на стенах! – завопил он, тыча сосисочным пальцем.

Скуратов покраснел. Иконой была огоньковская репродукция «Сикстинской Мадонны».

– Это Рафаэль, – высокомерно объяснила образованная студентка Марина.

– А это, видимо, Рембрандт! – орал Шонька, указывая на путающегося ногами в рукавах рубашки Захарова. – Снять! – приказал он.

Захаров посмотрел на него готовно и затравленно и снял рубашку с ног обратно.

– Да не это! это надеть! со стенки снять!

В коридоре перед дверью выросла небольшая интересующаяся толпа. Через эту толпу тихо проталкивались сожительницы, вернувшиеся с концерта.

– Тьфу, – сказала Марина. – Вот и вся демографическая ситуация. Вас, должно быть, папа с мамой сделали рубанком из полена. Толстое же им попалось полено, – не удержавшись, добавила она.

Комиссия перехрюкнулась. Шонька посинел. Марина попросила всех выйти вон и дать ей одеться.

– Произведения искусства не снимем, – заявили подруги. – Стыдно не знать, что это такое.

– Все будете лишены общежития! – трясся Шонька мелким студнем.

Когда стих шум великой битвы и комиссия удалилась готовить кары, подруги заварили чаек и посочувствовали Марине с некоторой неприязнью девушек порядочных к девушке непорядочной:

– Как ты двери-то не закрыла?

– О любви надо думать, а не о замках, – гордо сказала Марина.

– А чего теперь-то вздыхаешь?

– Кончить не дали, – пожаловалась она.

Прелюбодеев выселили из общежития, на месяц лишили стипендии и «строго предупредили» за поведение, порочащее звание «советского студента».

– Готова дать подписку об отказе от женского образа жизни вплоть до победы мировой революции, – на голубом глазу заявила Марина.

Подпортивший свой «облико морале» Захаров был потерян безвозвратно. Как незнаком с ней держался.

8. Джорджи

Через месяц Марина стала самой знаменитой девушкой на филфаке. В отраженном блеске мировой знаменитости ослепительно вспыхнула ее грешная звезда.

Знаменитость пела сладко и пылко и звалась Джорджи Марьяновичем. Юные ленинградки ломились на его концерты, теряя туфли и пуговицы, и в душных огромных залах внимали чарам волшебника до оргазма.

Марина пошла на бастион грудью. Она не метала свой букет на сцену, как противотанковую гранату, – она лично пробилась сквозь строй соперниц, взошла наверх и преподнесла цветы со светским поклоном. Ловя поцелуй в щечку, в по-

следний миг подставила губы и наградила вспотевшего после выступления Марьяновича таким засосом, что на минуту он забыл все ноты.

– Как жаль, что у меня завтра рано лекции в университете, – строго сказала она и сделала движение уйти.

– Вы шекспировский герой, – добавила она, разворачиваясь грудью в наивыгоднейшем ракурсе.

Марьянович примерно знал, кто такой Шекспир. Это было несколько выше уровня его интеллигентности.

Его переводчицей была пятикурсница с филфака. Марина навела с ней контакт и в благодарность сперла интуристовскую бирку, дающую свободный проход в гостиницы. Направляясь спать в свой номер «Европейской», Марьянович наткнулся в коридоре на Марину, читающую толстенный том.

– Меня интересует крайне высокий литературный уровень текстов ваших песен, – сказала она.

– Все эти поэты – идиоты, – сказал Марьянович.

– Просто они не видят в своих стихах то, что умеете увидеть вы, – возразила Марина.

Потрясенный Марьянович попытался осмыслить услышанное и пригласил Марину в номер.

– Уже слишком поздно, – заметила она, внимательно следя, чтобы на этот раз дверь защелкнулась.

– Я не пью, – отказалась она и хлопнула полстакана коньяка.

– Я влюблена только в литературу, – предупредила она, нежно гладя Марьяновича по щеке.

– Я никогда не буду вашей, – поклялась она, помогая Марьяновичу раздевать ее.

Потом в ванной они играли в «кораблики», и она издевательски наслаждалась разговором о литературе. Непривычный к подобному изыску певец пучил глаза и выпевал дифирамбы русской душе и русской культуре.

Назавтра Марьянович удостоился в антракте вежливого разговора со скромным музыковедом в штатском.

– Я уважаю ее как человека! как культурную, образованную женщину! – возмущенно заявил он.

Марина же в ответ на грозные предупреждения факультетского кэгэбэшника оскорбленно отвечала:

– Мы говорили о музыке Чайковского.

Знакомые, малознакомые и вовсе незнакомые жили их упоительным романом. Она провожала его в аэропорту; она уже вошла в высокий мир искусства и зарубежных гастролей! щелкали фотокамеры; Джорджи артистично промакивал глаза.

И улетел восвояси, скотина такая, наобещав с три короба: Париж, Греция, отели, машины и казино.

Вслед за чем Марину без треска и бесповоротно вышибли из Университета.

9. Пожар в Европе

Подобрали ее фарцовые мальчики легендарного Фимы Бляйшица. Подобрали, обогрели и приставили к делу.

А дело было такое: они за Выборгом тормозили автобусы с финнами тряпки фарцевать, а Марина тем временем оказывала интуристам услуги иного рода, женского: комплексное обслуживание. Чего же зря деньгам залеживаться: плюс сотня марок с головы, исполнительнице – четверть, организаторам – остальное. Вернее, конечно, не с головы, а… ну, ясно.

Сдельная оплата стимулирует производительность труда. Быстро усвоив эту экономическую истину, Марина освоила прогрессивную французскую технологию. Без сомнений, она была талантливым работником. И легенда о ней проникла на Невский тогда, когда впервые финский автобус достиг Ленинграда, обслуженный поголовно.

Это тяжелый труд, и вечерами восходящая звезда культурно отдыхала в каком-нибудь ресторане на Невском…

А на Невском в те времена, господа-товарищи, давали за десять финских марок три рубля – советских, деревянненьких. Не то рупь был здоровый, не то марка хилая, не то менялы глупые, а только откуда ж взяться при таком-то обменном курсе разгулу и расцвету валютной проституции. И секс был нам чужд как буржуазная отрыжка. Правда, и отрыжка

бывает приятной – смотря чем угощался.

С другой стороны, Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, писатель столь исконно и глубоко российский, что временные пертурбации на остроте его творчества никак не сказываются, еще сто лет назад отметил: «Финны по природе своей трезвенники, но попадая в Петербург, упиваются обычно до совершенного освинения». Марина по филфаковской программе до Щедрина не дошла и к постижению классической мудрости возвысилась собственным скромным опытом; что бесспорно делает ей честь, хотя и не ту, которой она лишалась, приобретая этот опыт.

Турмалаи между прочим снимались в кабаке. Дополнительная прелесть состояла в том, что к ответственному моменту они походили скорее на упомянутых хрюкающих непарнокопытных, нежели на жеребцов, и были уже абсолютно неспособны к тому, за что однако и расплачивались со скандинавской честностью.

Но тот длинный рыжий финн из «Европы» был просто какой-то ударник капиталистического труда. С крестьянским упорством он вбивал в себя рюмку за рюмкой и только шире таращил голубые глаза, в которых уже мерцала водка. Если огурец, по утверждениям ботаников, на девяносто семь процентов состоит из воды, то финн, сравнявшись цветом с вышеозначенным огурцом, состоял на девяносто семь процентов из водки. Иногда он отрывал руку от рюмки, чтобы проверить внимательно, на месте ли Маринины бедра, достичь

обладания которыми и представлялось ему конечной целью напивания. Второй рукой он держался за стол, как воздухоплаватель – за край гондолы.

– Господи, и куда ты ее сливаешь? – не выдержала Марина, посасывая свое шампанское.

– Сливаю? в деревянную ногу, – объяснил финн.

Марина ошарашенно пощупала его ноги:

– Тьфу! чуть не поверила. Ничего ноги не деревянные.

– Да? А мне казалось, – удивился финн. – Тогда в деревянный…

– Э. Нет у тебя ничего деревянного, – пренебрежительно убедилась она.

– А это уже твоя забота, – на удивление трезво рассудил клиент.

Очевидно, на последние три процента его организм состоял из стали, потому что после закрытия ресторана он отпустил стол и твердо взялся за круглую Маринину ягодицу, и в такой не совсем удобной, но однозначно решительной позе был прибуксирован в свой номер. Одна рука у него, значит, была опорная, а другая – питейно-курительная: рюмку он сменил на сигару, которые стал высаживать одну за другой.

И Марина отработала свою зарплату тяжелее, чем с целым автобусом, тяжелее, чем ткачиха на двадцати четырех станках в последний день годового плана. Отпрыск пахарей и лесорубов был жилист, как трос, и неутомим, как мельница.

– Я думал, русские женщины горячие, – беспардонно заявил он, придымливая шестую сигару.

– Я те устрою небо в алмазах, – злобно пообещала Марина.

Да есть ли на свете такая сила, которая превозможет русскую силу, справедливо воскликнул другой гениальный русский классик, Гоголь. И он был, конечно, прав. Потому что к пяти часам утра назойливый суомский ездок являл собой бездыханное тело, лишенное скелетного остова. Гавана слала дымок из сжатых челюстей. Алкогольная капля сползла из глазницы. Постель напоминала белый флаг, выдранный из вальков прачечной линии.

Дрожащими пальцами Марина отсчитала из бумажника свой гонорар, отдышалась под душем и, пошатываясь, ушла в предрассветный мороз.

Что русскому здорово, то немцу смерть. Ну почему ж только немцу, не соглашается история. И наш случай – лишнее тому историческое подтверждение. Потому что спал укатанный финн мертвецким сном, вкусив сверх меры того, чего нет крепче, – русской водки и русской бабы; спал, а прославленного качества гаванская сигара, привет пламенного Фиделя, продолжала исправно куриться, даже когда финн, захрапев, выпустил ее изо рта и она скатилась на ковер. Да не бухарский был коврик, не персидский – синтетический. А не кури при синтетическом ковре престижную гаванскую регалию, не по чину. Черное пятнышко расползлось под багря-

ной боеголовкой сигары, расползлось и лопнуло, и края ширящейся дырки вспыхнули желто-синим вонючим огоньком. Плавно достиг тот огонек края нейлоновой занавески и угла нитролаком крытой тумбочки, и бумажных стенных обоев, и заполыхало все весело и могуче.

Коридорная спала, дымок почти не пробивался за плотную дверь номера, улица была пуста в глухой час, и только ранние повара на кухне «Крыши», где кабак готовили к завтраку, поморщили носы от нестандартной вони из вентиляции. Вонь приобрела дымную видимость и аварийную концентрацию, послышались вопли и топот, зазвенели разбитые стекла, и когда воющие пожарные машины влетели в улицу Бродского (но не того, который нобелевский лауреат, а того, который Ленина рисовал): радужное пламя лупило из верхнего этажа, с муравьиной суетливостью выволакивали пожитки иностранцы, а по крыше гостиницы бегали три друга-богатыря, три повара в белых курточках и белых колпаках, крыли с небес матом и истошно требовали вертолет для спасения: дым синтетики вообще влияет на мозги.

Пожарные зычно обматерили одуревших и вороватых поваров, потом споро перекачали на крышу гостиницы сотню тонн воды из магистрали, все не успевшее сгореть было хорошо затоплено, сосульки свесились с почерневших лепных карнизов, и с тем притон тлетворного иностранного влияния надолго вышел из строя, встав на капитальный ремонт. Старожилы помнят это замечательное утро.

10. Куртизанка КГБ

При каждой гостинице, в каждом интуристовском кабаке, сидели гэбэшники: по штату надзирали за контактами иностранцев с совками. Они бесплатно пили и бесплатно закусывали. Фарцовщики дарили им джинсы и часы «Сейко», бармены снабжали американскими сигаретами, а проститутки делились деньгами. Хорошо быть стукачом.

Отстегивала им и Марина налог на государственную безопасность.

И тут в баре «Октябрьской» стиснули ее под локоток и приказали, чтобы спокойно и без шума. И спокойно и без шума привезли на Литейный. В Большой, стало быть, Дом. В животе у Марины сделалось худо. А кому там делалось хорошо. Не санаторий.

– Что, красавица, грохнула турмаша? – осведомился улыбчивый молодой комитетчик, откинувшись за столом.

Марина прикинула, что ей шьют, завибрировала и взвилась.

– Убийство и грабеж иностранного гражданина, – поцокал удовлетворенно комитетчик. – А гостиница? Это ж на сколько миллионов ты сожгла народного достояния!..

– Я его не трогала! – шепотом закричала Марина.

– Уж не трогала. Облико морале, – вздохнул комитетчик: – тунеядка, проститутка, валютчица. Бомж.

Марина пустила беззащитную слезу социальной жертвы. Комитетчик раскрыл папку и ознакомил Марину со славными вехами ее боевого пути. Слеза высохла.

– Да на кой черт мне его убивать!!!

– А вот это ты сейчас и расскажешь.

Через час она подписала добровольное сотрудничество с органами. Вступать в контакт с указанными лицами. Собирать и передавать информацию на поставленные темы. Строгое неразглашение. Агентурная кличка «Рябина».

– Я знал, что вы все-таки советский человек.

– А то какой же, – угрюмо подтвердила Марина.

– Языком владеешь?

Марина покраснела.

– Английским, дура! Отправишься на курсы. Я из тебя переводчицу сделаю, поняла? Возможности перед тобой откроются. Но – смотри!

…Первым объектом явился шведский инженерик. Когда в «Астории» его попыталась снять конкурентка, приблизился неприметный мужичок и одной фразой вымел ее за дверь.

Шведик вел себя – прелесть. Возил на «вольво», дарил парфюмерию, знакомил с партнерами. Но все ее попытки заговаривать об его работе неукоснительно игнорировал.

– Ну ничего ж по делу не сказал, дубина, – пожаловалась она, когда пришла пора сдавать отчет.

Ее патрон хмуровато повертел пепельницу:

– Что значит – ничего?.. Бери бумагу – пиши!

– Чего писать?..

– Говорил, что строительство в порту начнется… – и продиктовал ей текст, за который немедленно хотелось дать звание майора разведки. – Подпись. Число. Поняла?

– Поняла… – похлопала ресницами Марина.

– И не вздумай!..

– Не вздумаю, – пообещала она.

– Главное – работа, – завершил патрон. – Чтоб был виден результат усилий. Это будет оценено. А то – «не-ечего…»

И по следующему объекту, толстому шумному немцу, Марина выдала такой результат, что немца нужно было бы судить нюрнбергским трибуналом. Отчет вернулся к ней, пестрея красной редактурой.

– Охренела? Не зарывайся, сгоришь. Скромнее, девушка.

Марина поняла службу – поперла лафа. Поднаторев в составлении отчетов, она наслаждалась безнаказанностью: шикуй, еще и спасибо скажут.

Через полгода она купила двухкомнатную кооперативную квартиру. Швейцары приветствовали ее зеленую «Волгу». Первой в Ленинграде обрела она статус «дамы для сопровождения деловых людей». Такое сопровождение стоит дорого, и деловые люди были недешевые.

– Старуха, ты живешь на стольник в день, – предостерег ее при встрече сам Фима Бляйшиц. В те времена это была нормальная месячная зарплата, баснословные деньги. Но она ждала своего часа.

11. Шейх в «Мерседесе»

Шейх был девяносто шестой пробы и выглядел как родной брат Ясира Арафата. Он ослеплял белым бурнусом и накидкой с обручем на голове, как там это у них называется. Шейх занимал четыре люкс-апартамента в «Астории». Шейх имел гешефт с нефтью, как все порядочные шейхи (продавал), и с оружием (покупал, естественно). И где-то там у себя в аравийских пустынях имел большой вес. Не то он был потомком Магомета, не то родственником самого Аллаха по боковой линии, не то намеревался сдать в своем шейхстве бархан под нашу военную базу, но только облизывали его в Ленинграде с ног до головы.

Марина была грамотно подставлена под него на банкете в горисполкоме. Она оценила задачу, вычислила перспективы, и пустила в действие всю мегатонную мощь своего отточенного сексуального обаяния. Араб был повержен, повержен, повержен! Утром Марине с поклонами подали турецкий кофе в постель его апартамента.

Шейх, небедный человек Востока, познал таки в долгой жизни разнообразных удовольствий, но бриллиант такой воды узрел впервые: у шейха произошло легкое расходящееся косоглазие. Глаза отказывались сходиться параллельно, и шейх отказывался расставаться с Мариной. Славянский шарм и интеллектуальные экскурсы вкупе с английским язы-

ком и постельными изысками приводили его высочество в неистовство. Усики его топорщились, лысинка потела, глаза горели в разные стороны, и в каждом глазе отражалось по Марине.

В арабском мире, как утверждает печать, постоянно случаются разнообразнейшие скандальные происшествия. Среди прочей ахинеи имело в тот год намерение шейха сделать Марину царицей своего сердца и своей души, а равно и всего прочего имущества. Иначе она не соглашалась. Титанические терзания ее гордости компенсировались шейхом незамедлительно.

Он одарил ее собольей шубейкой, купленной в «Березке», и килограммом золотых украшений, доставленных из дому. Она обязана озарить своим блеском его шейхство. Старых жен он собирался выгнать, продать, подарить, утопить, зарезать, послать учиться в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

И вот тогда – и вот тогда! – Марина вздохнула полной грудью. Всей своей полной красивой грудью. Она добилась своего.

Много лет, сжав зубы, превозмогая неудачи и преодолевая все препятствия, шла она, храбрый солдатик любви и удачи, к заветной цели. Еще молода и красива, еще полна страстей и желаний, – она ее достигла.

Олимп лежал у ее ног в теплом свечении золота и лазурных морей.

«Мерседес» пожелала Марина.

Хвостиком взмахнула золотая рыбка:

– Завтра, любовь моя.

В тот же час отбыл из Хельсинки, вдавливая педаль акселератора, перегонщик в люксовом «мерседесе» последней модели, и утром лимузин красовался под окнами их апартамента, сверкая лаком и никелем.

Свадебное путешествие в Париж заказала Марина, и через час шейху гарантировали к концу визита загранпаспорт для нее.

И тогда исчезли границы ее желаний, и величественное равнодушие небожительницы проступило в ней.

В ту неделю и всплыла на уста млеющего в летнем зное Невского изменчивая легенда ее жизни. В серебристом «мерседесе» неслась она по проспекту, и пассажиры троллейбусов пялили глаза в окна вниз: водительница была одета в автомобильные перчатки и золотое колье, и ни во что более. Гаишники останавливали ее пожрать глазами и получить милостивую сторублевку: они тоже все знали.

Запахнувшись в соболиную шубу, вплыла она в «Восточные сладости» и чеканно прозвенела через головы:

– Продавец! У вас все сладости продаются?

– Ну, – отреагировала продавщица. – А вам чего?

– Сколько стоит это? – бестрепетный пальчик указал на юного красавчика-брюнета из очереди.

– Это? рублей тысячу, – ухмыльнулась продавщица с пло-

тоядным пониманием.

– Получите, – Марина пустила за стекло кассы веер бумажек и взяла красавчика за руку: – Забираю покупку.

Он побагровел и сияя последовал за владелицей. Шуба распахнулась. Старухи охнули и заголосили. Мужики застонали. Прохожие столбенели и крякали. Пыль взвилась за лимузином: царица совершила мимолетную покупку.

Она сняла зал в «Неве»; официанты были куплены; в заключение пира, средь развороченных гор икры и ананасов, шестеро молодцев выволокли ванну, ее наполнили шампанским, Марина содрала платье от Диора и нырнула в искристую пену.

Наутро она исчезла.

Шейх проснулся в царской постели один.

Поиск был безуспешен.

Ничто из его вещей не было тронуто. Все покоилось на месте и в квартире Марины. Растворились в небытие серебристый «мерседес», соболиная шуба, подаренные драгоценности и она сама.

Шейх бился в международной истерике. Угрозыск падал с ног.

Передавали, что она рванула через финскую границу, подкупив пограничников и таможню, связанных с мафией Фимы Бляйшица. Фима категорически отрицал такой вариант.

Без надежды искали «мерседес» на Кавказе, куда его мог-

ли продать возможные убийцы. И смутно подозревали в исчезновении интересы всемогущего КГБ, но эта версия выяснению не поддавалась.

Марина, достигнув сияющей выси, растаяла в ней бесследно.

Пристрастно допрашивали среди прочих и мальчика из «Восточных сладостей», который был при ней в последний вечер. На вопрос, что она делала, когда они расстались в последний раз, мальчик подумал, вздохнул и сказал:

– Она плакала.

Легенда о стажере

Советский человек и иностранные языки – это тема отдельного разговора. Когда в шестидесятые стали расширять международные связи, оказалось, что языков у нас никто не знает. Что прекрасно характеризует работу КГБ, начисто отучившее поголовье населения от общения с иностранцами. Даже студенты-филологи языковых отделений имели по программе часов языка столько же, сколько марксизма-ленинизма. И то и другое им не полагалось знать лучше своих преподавателей. Но если от общения с Марксом и Лениным они были гарантированы, и здесь критерием истины служила оценка, то иностранцы их сданный на пять с плюсом язык не понимали в упор. А уж они иностранцев и подавно; программа была составлена таким образом, что понимать они

могли друг с другом только преподавателей. Дело было налажено столь научно, что дочки советских офицеров из Германии поступали на немецкое отделение Университета, свободно чирикая по-немецки, и после пяти лет обучения с преподавателями специальной квалификации и с научными степенями, по утвержденной Министерством высшего образования методике, квакали по-немецки с чудовищным акцентом и мучительным трудом. С кем поведешься, от того и наберешься.

Исходили из того, что язык, как и вообще любая наука – дело наживное и не самое главное. Главное – чтоб человек был хороший: наш, правильный. Как было записано во всех методиках – что такое советский специалист? во-первых, это специалист, овладевший в полном объеме марксистско-ленинским мировоззрением, и уже во-вторых всем остальным. Именно вот так это было записано, черным по белому, и никакого преувеличения, шаржа и прочего стеба здесь нет. Правда; суровая правда.

И вот жил не тужил здоровый парень, мастер спорта по вольной борьбе в семидесяти килограммах и чемпион какой-то области. Его отрыли в Краснодаре. А любой вуз охотился за спортсменами – надо выступать на соревнованиях и спартакиадах, занимать места. У спортивной кафедры свой собственный план по подготовке разрядников, кубкам и медалям, и даже есть на то специальный проректор по спорту.

А проректором Ленинградского университета по спорту

был тогда бывший знаменитый боксер Геннадий Шатков. О нем есть отдельная история. Он был полутяжем и в свой звездный час в шестидесятом году на Римской Олимпиаде вышел в финал. И тут его звезда угодила под колотуху семнадцатилетнего Кассиуса Клея. Клей его отбуцкал с ужасной силой, и после этого Шатков с ринга сошел – стал падать и страдать головными болями. И в университете его любили и к мнению прислушивались. Он блюл спортивную славу.

Борцу-вольнику объяснили все преимущества университетского образования: Ленинград, общага, стипендия, именитые тренеры и автоматическое зачисление в сборную «Буревестника». Тогда все спортсмены числились или студентами, или кладовщиками; кроме ЦСКА, которые считались офицерами.

Ну, по части естественных наук борец умел качать шею и стоять на мосте. Дважды два знал твердо, но пестики с тычинками уже путал: ни уха ни рыла. Поэтому всех спортсменов зачисляли на что-нибудь такое трепологическое, гуманитарное, где знания сугубо условны и соображать не требуется. И, распределяя их по необременительным факультетам, борца записали на филфак. А уже там его сунули на французское отделение. Может, замдекана по студентам читал в детстве про французскую борьбу, может, потому, что на русском и английском уже были гимнастка и боксер, но только он стал студентом французского отделения.

Он к этому языку относился, как партизан восемьсот две-

надцатого года к недобитому французскому парикмахеру. Всем по восемнадцать лет – ему двадцать четыре, давно после армии. Родом из глухомани, крепыш-самородок, здоровеннейший парняга. Он по-французски выписал на шпаргалку три ключевые слова – «бонжур», «пардон» и «мерси». С этими волшебными словами он раз в семестр показывался с зачеткой получить свой «уд.», предъявляя записочку от Шаткова, а стипендия за ним была закреплена как за передовиком спорта. И пока эти недоделки выламывали перед зеркальцем язык, овладевая фонетикой, он защищал честь ихнего Университета, исправно побеждая на всех соревнованиях.

А пока он пыхтел на ковре и ломал уши, расширяются, значит, международные связи. Начинается культурный обмен студентами: мы – вам, вы – нам. Обмен, конечно, неравноценный, даже жульнический: мы им – овладевших передовым учением, они нам – идеологических уродов, буржуйских недорослей. Наши, конечно – тяжело в ученье, легко в бою! – рвутся в бой и ученье на территории врага. Центральные языковые вузы получают разнарядки на стажировку в разные хорошие страны. И отличная учеба начинает пахнуть заграничным пряником.

И на университетский филфак спускается по такой разнарядке одно место в университет Сорбонны, в Париж. Для студента-француза. Стажировка на шесть месяцев.

По отделению разносится этот слух, и все начинают

вибрировать!.. прикидывают свои шансы. Отчаянно зубрят французский и историю с географией Франции, политику французской компартии и биографию товарища Мориса Тореза; и до сотых долей высчитывают свой средний балл по языку за весь период обучения. А борец тягает штангу в зале и разминает на ковре свою шею сорок пятого размера. Хрен ли ему Сорбонна, у него на носу спартакиада в Днепропетровске.

Ну-с, собирается деканат вкупе с романской кафедрой, и приступают к селекции: кто дозрел, кого отправить. Момент ответственный и непростой.

Во-первых, отпадает первый курс – зелень, это еще не студенты. Во-вторых, по аналогичной причине не годится и второй курс – мало знают. В-третьих, пятый курс: им уже дипломы писать надо, и кроме того у них уже сданы все экзамены за университетский курс, кроме выпускного марксизма – а это значит, что по западным меркам они квалифицированные специалисты, бакалавры, имеют право где угодно работать по специальности – и этот факт не в пользу отправки за границу: а ну как устроятся там и останутся; рекомендовано воздержаться. Остаются лишь третий-четвертый курсы, предпочтительно – четвертый, они хоть что-то знают.

Дальше: девочек посылать не рекомендовано. Они склонны в этом возрасте выходить замуж, и вообще легче подпадают под влияние; нужны мужчины. И таким образом отпадает еще три четверти кандидатов – филфак всегда был факуль-

тетом преимущественно женским, цветником прелестниц.

Остается кандидатур – по пальцам пересчитать, и пальцы эти загибаются один за другим. Значит – евреев посылать нельзя. Минус два. Некомсомольцев посылать нельзя. Минус один. Больных, кривых, убогих – посылать нельзя: во-первых, по ним составят искаженное представление об облике великого советского народа, во-вторых – если они там захворают, кто будет валютой оплачивать лечение? в-третьих – а не предписано, и дело с концом. А на гуманитарных факультетах, заметим, нормальных здоровых мужиков и всегда-то было немного – все больше с каким-то вывихом и креном, блаженненьких. И то рассудить – не мужская специальность, ни денег ни карьеры стоящих.

А лучше всего посылать члена партии. Причем не мальчика, но зрелого мужа, морально проверенного, политически воспитанного, испытанной твердости в убеждениях.

И комиссия с некоторым даже удивлением обнаруживает, что посылать в Париж совершенно некого, кроме борца. Народу, вроде, полно, а посылать больше – некого.

Кафедра ропщет: позвольте, но он же ни бельмеса по-французски! Он же спортсмен. Он же не ведает, в какой стороне та Франция находится! Он вообще считает, что это парфюмерная фабрика женского белья, а Наполеон был гитлеровским генералом.

А секретарь партбюро отвечает: что он не знает французского – это уже ваша вина! и мы с вас спросим. Чему вы

его три года учили? А человек – наш, советский. Прекрасная армейская характеристика, член партбюро курса, отличный спортсмен; в порочащих связях не замечен. Защищает повсюду спортивную честь родного университета. А вот плохие преподаватели университету чести не делают!

И этому обалдую сообщают, что он едет на полгода в Париж. И он это спокойно воспринимает, как естественное обстоятельство университетской жизни – Париж так Париж. Не зря же, в конце концов, он дал себя уговорить в это идиотское заведение, где всякие хилые недоделки над ним еще иногда издеваются!

Он пропускается через все шестеренки подготовительных инструктажей: не пить! в половые связи не вступать под страхом смерти! но с собой иметь презервативы! контакты с иностранцами только по учебе!! по любым вопросам обращаться к председателю советского землячества при советском консульстве! вечерами по улицам не ходить, в десять часов возвращаться в общежитие! на провокации не поддаваться, с белоэмигрантами не встречаться ни в коем случае! В дискуссии не встревать, но если навяжут – умело и аргументированно доказывать преимущества социалистического строя!

Кругом студенты дергаются, ворошат шпаргалками с фамилиями лидеров мирового коммунизма, а он сидит флегматично, дремлет, и на все увещевания только гудит мирно:

– Разве ж я не понимаю… Не пацан какой. Вот и замполит нам в армии говорил тоже… – И очень это упоминание о

замполите на всех действует убедительно и успокаивает.

И только тренер, такой же простой мужик, ему сказал со вздохом на прощание мудро:

– Все, Васька, пропал ты для большого спорта. Жаль – перспективный парень, мог бы до чемпионов дойти больших. Ладно – вернешься если… поставь бутылку.

И вот наш борец, с чемоданчиком пожитков и нищими франками, в группе счастливцев прибывает в Париж. Селят их в кампус. И первым делом зовут на собрание советского землячества.

И председатель землячества, штатный кадр КГБ, повторяет знакомый инструктаж, но уже в тех тонах, что изощренный враг притаился за каждый кустом. Что главная задача Франции – завербовать их в свои шпионы и выведать секретные сведения: а иначе зачем бы, вы думали, вы им нужны?! Зря деньги на вас тратить?!

Все молчат, все понимают, и только наш борец гудит:

– Точно… вот и нам в армии замполит говорил…

И председатель сразу проникается доверием к этому простому и надежному русскому парню.

– Есть, – говорит, – настоящие студенты! Без этой, знаете, прямо скажу, интеллигентской гнильцы! Вот что значит – из Ленинграда, сразу видно… колыбель революции!

– Короче – разойдитесь, товарищи, скоро ужин, потом разложите вещи, почитайте немного, и – спать! С дороги надо отдохнуть. Перед сном пройду по комнатам – лично про-

верю, чтоб все были на местах. Вы тут еще новенькие, ничего не знаете, вот месяцок пройдет – тогда можно будет и в город сходить в увольнение… в смысле на экскурсию, посмотреть. Закажем автобус, посетим музей Ленина, кладбище Пер-Лашез – не волнуйтесь, и до Лувра очередь дойдет: познакомим вас со всеми достопримечательностями французской столицы. В организованном порядке. Вопросы есть? Вольно, разойдись.

Наш борец назначается помощником председателя по новичкам. А поскольку в армии он был сержантом, то командует – у председателя сердце радуется. Хотел своих по корпусам строем в ногу повести, но председатель уж остановил это похвальное, но излишнее рвение: французы могут не понять – Европа…

А в комнате наш задумывается, смотрит в окно, пересчитывает свои тощие франки. Соображение такое, что раз уж он начальник, то надо использовать преимущества своего положения. В частности, насчет свободы выхода за пределы гарнизона. Главное – чтоб порядок во вверенном подразделении был наведен. Обходит по списочку все комнаты со своими и наставляет, что в десять часов отбой, положение, можно сказать, военное, и дисциплина должна быть соответствующая, кругом буржуазное окружение, а кто против – завтра же полетит домой.

Вот же падла на нашу голову, думают несчастные стажеры, но возражать боятся.

А сержант-борец, подкрутив гайки подчиненным, идет отдохнуть на свежий воздух. И к десяти не возвращается. И к завтраку не возвращается.

И вообще не возвращается.

И председатель землячества с ненавистью прикидывает, сообщать ли ему в консульство и куда надо о ЧП, или лучше подождать еще, может, все само утрясется… придет, скотина. Очень нужны ему пятна и накладки в послужном списке – студентам-то что, а у него служба! у него своя карьера! все сволочи эти интеллигенты, и армия им не поможет. Вот отдай хорошего парня в университет – и пиши пропало. Разложит его это гнилье!

А наш борец вечером поглядел на часы и старательно высчитал, что вполне успеет сесть на автобус и погулять чуток по центру Парижа. Он с крестьянским здравомыслием рассудил, что французского он не знает, завтра же на первом занятии это выяснится, и его, уличенного во французской непригодности, антикоммунисты-французы вернут к черту отправителю: чего это вы нам подсунули? Семь бед – один ответ, так надо ж пока попользоваться чем можно. Не зря ж он здесь. Что друзьям-то расскажет? Вообще ему было на все на это наплевать, он был мастер спорта, и его всегда возьмет любое спортобщество. А в Париже его интересовали исключительно парижские проститутки, французская выпивка и плюнуть вниз с Эйфелевой башни. Такая скромная программа-минимум. Более ему о славной столице Франции все

равно ничего не было известно.

Он пришел на остановку, спросил у подошедшего автобуса: «Париж?» Ему ответили – ла-ла-ла, Париж! Он доехал, похоже, до центра, и начал пешую прогулку. Комплексами он не страдал, нервная система отличалась тренированной стабильностью, и обалдения от заграницы он никакого не испытывал. Скорее, раздражала – говор кругом дурацкий, выпендриваются. Так что из ощущений присутствовало только, что подобает случаю выпить.

Увидел вывеску «Ресторант» – вот и остограмимся! Народу нет, помещение маленькое: клетчатые скатерки, настольные лампы – скромный такой ресторанчик; гадюшник, а чистенько. То, что надо. Сел и сказал гарсону: «Коньяк». Гарсон принес рюмку. Он сглотнул рюмку, придержал гарсона за рукав и изобразил пальцами, что он подразумевает под словом «коньяк». Гарсон сказал: «Ви, мсье», и принес двойной коньяк. Он сглотнул двойной – шестьдесят-то граммов! лягушатники! – придержал гарсона за рукав, и стал втолковывать этому недоумку, что имел в виду бутылку, черт возьми! Что он – за рюмкой из эдакой дали приперся? И что-нибудь закусить.

Гарсон склонил птичью голову и начал чирикать. Наш борец раздраженно нарисовал на меню бутылку и ткнул вразумительный рисунок ему в лицо, пристукнув по середине стола: чтоб, мол, вот такая была здесь!

Гарсон сделал уважительное лицо и притаранил бокастый

темный пузырь, весь в паутине. Наш понял, что залетел в паршивого пошиба забегаловку, где норовят сбыть чужаку завалящий хлам, неликвиды. Зараза! Хрен с ним… Обтер пузырь салфеткой, сунул ее грубо гарсону – твоя вообще-то работа! Гарсон благоговейно распечатал, повертел перед борцом на тарелочке вынутую пробку с буквами, и налил в большой бокал на самое донышко. Наш с улыбкой наложил свою лапу на его ручку и долил доверху. Гарсон выпучился и пискнул. Эх! Наш шарахнул, крякнул, понюхал скатерть и пощелкал пальцами – неси жрать. Гарсон дернул кадыком и показал меню – что, мол, прикажете? Тот – пальцем в гущу строчек: раз, два и три – это неси! Однова гуляем! И получил под нос яства: спаржу, устрицы и лягушачьи лапки.

Отодвинул он эту дрянь, пригорюнился, и стал думать, как по-французски «мясо». Мясо он не вспомнил, и стал вспоминать «хлеб». А за соседним столиком изящная дама кушает что-то вроде мясной подливки. Пахнет ничего, съедобно. Наш тычет в направлении этой подливки и растопыривает четыре пальца – неси, значит, четыре порции, как-нибудь подхарчимся.

И начал он пировать по-французски: выпьет – закусит – посмотрит по сторонам. Сейчас еще захмелимся – и пойдем пошарим, где тут девчонки есть.

А дама поглядывает на него, и вроде даже мельком улыбается. А ничего, в общем, дама. Одета простовато, но смотрится ничего. И не старуха еще, лет так на вид тридцати пя-

ти, в самом соку. Еще драть да драть такую даму. А чего она одна, спрашивается, в кабаке сидит? И винище трескает!

Неплохо бы с дамой и заговорить, но кроме слов «пардон, мадам» ничего абсолютно же в голове не пляшет. И он ей ласково улыбается. А она ему, после третьей кажется, начинает глазки строить.

А коньяк оказывается весьма забористым. Еще бы не забористый, он столетней выдержки. И наш начинает пальцами по столу показывать, что, значит, хорошо бы потом прогуляться вместе. Все будет благородно, не сомневайтесь. А дама посмеивается. Это выглядит она на тридцать пять, а на самом деле там сидит хороший полтинник. А наш парняга похож на Жерара Депардье, только лицом куда свежей и проще, и корпусом стройнее; и смотрится он на фоне парижских заморышей и вырожденцев очень даже и очень ничего. Настоящим мужчиной смотрится.

Он как-то пытается придать лицу французское выражение и залучить даму за свой столик. Дама поперхивается своей подливкой и двигает подбородком – фасон блюдет. Он хочет истолковать этот жест в свою пользу как приглашение, сгребает свое добро и переселяется к ней: наливает ей полфужера коньячку для знакомства. Дама хохочет и спрашивает, судя по интонациям, а есть ли у него деньги. Порядок; не волнуйся – не обманем, за ужин плачу я. И, зная культурное обращение и галантность, целует даме ручку. Похоже, договорились.

Гарсон подает счет, борец разбирает цифру, и у него делается лицо, будто задавил его противник тяжелой весовой категории: багровое и неживое. Просто его дубиной по темени оглоушили. О существовании таких цен в природе его не извещали даже университетские профессора. Ресторанчик из недешевых оказался – столетним-то коньячком на Елисейских полях поужинать.

Он пересчитывает свою ничтожную наличность: срочно линять надо, пока полицию не вызвали. Дама делает успокаивающее движение и вынимает из сумочки кошелек. Атлично! Это гусары денег не берут, а мы служили в других войсках: хочешь мужика – так поставь ему выпить, нормально; хоть и француженка, но с пониманием баба оказалась.

Она сажает его в шикарный белый ситроен – ни хрена себе! вот это заклеил! – и он прихватывает ее за ляжки прямо тут же. Она смеется, бьет его по рукам и везет. И привозит к себе.

Квартира – обалденная… Ковры мохнатые по щиколотку, лампочки и столики во всех местах напиханы, бар забит пестрым суперпойлом – это он удачно зашел. Нет, в Париже хорошо.

Он валит даму на белый бархатный диван-аэродром, а дама смеется и толкает его в ванную. Хрен ли он не видел в этой ванной, он еще вполне чистый, тем более не после тренировки, не потел. Он ей объясняет, что сначала – в койку, а потом можно и в ванну, конечно, спинки друг дружке тереть

и в кораблики играть, хорошее дело. И в конце концов они доволакиваются до спальни с гигантской кроватью. Он интересуется только предварительно выяснить, когда муж вернется; но она в упор не понимает. А ясно, что жена капиталиста, откуда ж еще такая роскошь. Ладно – тем хуже для него: получит по шее классовый враг; гарсон в кабаке в случае чего свидетель, что она сама его завлекла, пользуясь его незнанием парижских обычаев.

Она предстает в прозрачном пеньюаре до пупка, благоухая шанелью. И он ей показывает, как в нашей деревне кобыл объезжают, почем фунт сладкого и сколько в рубле алтын. И она приходит в совершеннейший экстаз, потому что такого она в своей блеклой французской жизни не встречала. Здоровьишко у французов не то. Кураж не тот. Он же профессиональный спортсмен, он деревенский здоровый парень, вырождение наций его не коснулось: он привык и не с такими партнерами на ковре возиться. А тут удовольствие! Дама стонет, рыдает, умирает, верещит на пол-Франции, смотрит на него расширенными глазами; и в свою очередь преподносит такие изыски, что у него дыхалка обрывается, потому что таким приемам никакие тренеры по борьбе, даже заслуженные и экс-чемпионы Союза, обучить, конечно, не могут. А если бы могли, то сменили бы специальность – на более приятную и легкую: и заколачивали бешеные деньги!..

Наутро она лепечет, что если сейчас не поспит, то умрет, а это будет досадно – ей только понравилось жить. А он реша-

ет, что парижская программа удачно выполнена, чего еще, и тоже обрубается, как убитый. А вечером она везет его ужинать, и уж тут он жрет мяса от пуза, вот только когда она заказывает гигантского рака, он никак не может втолковать, что раки требуют пива.

Он является в кампус через двое суток, и земляки его встречают в ужасе, как привидение. А председатель закатывает истерику, кричит о трибунале и вендиспансере и запрещает отныне покидать территорию!

Он – председателю: да брось ты! ну чо – дело житейское, клевую бабу склеил, а трахается она – ты не представляешь! Вот послушай, чо делает… Ну, не молодая, но очень ничего, и выпить ставит, хата обалденная – а кровать!.. а ванна!.. Председатель выспрашивает интимные подробности про бабу, вздыхает и облизывается. И приказывает: все, ни-ни… иначе – сам понимаешь! Борец говорит: да она в пять часов за мной к воротам подъедет, ты что, я обязан выйти; нехорошо женщину динамить – иностранка. Что она о нас подумает? Дружба народов. – Не сметь!!! – Борец вздыхает: слушай, говорит, ну вот тут… возьми сто франков, что ли, и замнем. Председатель колеблется, но говорит: ты что?! – Ладно, двести. А иначе, говорит наш – прет пыром! – заложу я тебя, как Бог черепаху: что это ты мне адресок дал, и просил нашу водку продать, и шмотки тебе купить, и вообще не сомневайся – сделаю, что тебе Монголия будет заграницей. Да хрен ли мне, говорит, вообще этот французский, отродясь

я его не знал и век бы не слышал, плевать хотел. Но наш замполит, говорит, всегда учил, что к подчиненному нужен подход. Вот те подход: ты за меня – я за тебя, поддержу там, похвалю, проголосую. И будь здоров, понял?

И больше его седые стены Сорбонны, а вернее Нантера, где расположены гуманитарные факультеты, в течение всего полугода не видят.

Зато видят каждое утро следующую картину посетители ресторана «Максим». У подъезда останавливается белый ситроен люксовой модели. Из него выходят вполне ничего еще светская дама и парняга с обликом телохранителя, но надменный и шикарный, как помесь лорда с попугаем. Они садятся за столик, и гарсон несет на серебряном подносе хрустальный стакан водки и корочку черного хлеба. Парень залпом выпивает стакан, нюхает корочку, и с маху бьет лакея в морду со словами по-русски: «Как подаешь, скотина?!» И гарсон кувыркается в другой угол зала, а зрители бурно аплодируют этому фирменному спектаклю. И у знаменитейшего и крайне дорогого ресторана существенно увеличивается выручка в утренние часы. Зрители специально ходят посмотреть на экзотическое представление, и оно даже становится одной из достопримечательностей сезона: экскурсионные автобусы тормозят. Правда, гарсон часто меняется. Плюха ему влетает крепкая, как гиря. Но хозяин на роль этого, так сказать, спарринг-партнера стал нанимать отставных боксеров, и все участвующие стороны были очень довольны.

Колорит а'ля рюсс! Фирменное блюдо, только у нас, недолгое время проездом!

А через полгода им пора расставаться, и дама страшно рыдает. Она говорит, что не переживет разлуки, что это ее единственная и настоящая любовь, и вообще она даже не предполагала, что такие мужчины бывают на самом деле, а не только в легендах. А он говорит, что ему это тоже больше нравится, чем бороться на ковре и жрать в спортивных столовых на талоны, но что же делать – родина, долг, учебная программа: у него уже виза кончается. И вообще он уже вкусил досыта нездешних прелестей, и несколько они ему приелись. Хотя, конечно, неплохо: он тоже не предполагал, что райская жизнь и французская любовь возможны наяву, а не в буржуазной антисоветской пропаганде.

Но дама говорит: а если бы тебе продлили визу, дорогой? Ты не мог бы сходить к консулу, ведь это несложно?.. Ты что, отвечает, дура, я и так-то в университете не показывался – а у нас ведь патриотизм и госбезопасность, ты что, про КГБ не слыхала? Да меня в тот же час – под микитки: на самолет и домой. Но дама в свое вцепилась и отдавать не собирается: знаешь, говорит, мой покойный муж был человек с большими связями, и собственные связи у меня тоже есть, так что я попробую похлопотать… Ты не против?..

Чего, говорит, еще полгода такой жизни? – нет, я не против. Но пустая это затея, зря дергаешься.

Однако она хлопочет, развивает деятельность, надавлива-

ет на все свои связи, ее покойный муж оказывается чуть ли не школьным приятелем министра иностранных дел Франции, и в результате ни больше ни меньше МИД Франции заправляет именную просьбу в советское консульство в Париже продлить на шесть месяцев визу господину такому-то – в целях дальнейшего развития советско-французских отношений, и вообще он очень ценный специалист, его будет во Франции сильно нехватать. Консульство запрашивает председателя землячества: он у вас что – ого? Ого, подтверждает председатель, получивший накануне два раза по морде и тысячу франков. Вся, говорит, студенческая работа на нем держится, бесценный специалист, и главное – контакты у него правильно налажены… а человек наш, хороший человек, классовое чутье верное; и синяк поглаживает.

И наш остается еще на полгода наслаждаться этим фантастическим существованием. Феерия: эта небедная деловая женщина одевает его у Диора, возит отдыхать в Ниццу, и даже кофе он научился принимать в постель, а не на хрен. Да он молодой бог Аполлон: ему двадцать шесть лет, у него мускулатура борца и отличное сложение, он русский мужик кровь с молоком, а на отборной экологически чистой пище и без тренировок – да сил у него невпроворот, как у табуна жеребцов. Он вошел во вкус, понял себе цену, даму иногда поколачивает, что приводит ее в восторг: «О-о, эти азиатские страсти!», и вообще требует личного массажиста, собственный автомобиль, и возить себя в Монте-Карло играть в рулетку.

– Да, – говорит ей с мужицкой прямотой, – женился бы я на тебе, будь ты помоложе. А так – сама понимаешь…

Он в качестве укрепления союза даже предложил план: пусть она женит его на молодой, а жить они будут продолжать вместе. В Париже, мол, так вполне принято. Но ей это предложение не понравилось. Она к мысли о женитьбе вообще отнеслась с непониманием: совместное владение имуществом, знаете… Такому дай волю и право – пусти козла в огород… никакой капусты не напасешься.

И в конце концов, после года такой жизни, провожающие в аэропорту Орли наблюдают такую сцену: по трапу поднимается роскошно одетый, крепкий, красивый молодой человек, а на нем висит холеная мадам в дорогих мехах, рыдает и покрывает его поцелуями. И вкрапляет в нежные пожелания крайне неприличные русские слова, к восторгу советских пассажиров.

Самое интересное выяснилось по приезде. Он за этот год в совершенстве таки овладел французским! То есть ни малейшего, разумеется, представления о теории, но прекрасный парижский выговор, абсолютная правильность речи и достаточно богатый словарный запас. Еще бы – естественно: такая школа. Наилучший способ обучения иностранным языкам. Постель, она стимулирует, и ассоциации положительные. Эту методику еще Байрон пропагандировал, а уж он был полиглот известный… Да наш за год по-русски слова не сказал, за исключением мата, когда был недоволен чем-то в ее

поведении.

Секретарь партбюро указал на это кафедре: правильно партия отбирает специалистов, и способности у них, как показывает практика, прекрасные. Так что – плоховато учите, товарищи, плоховато. И в людях разбираться не умеете. Надо бы поставить вопрос на ученом совете: о неправильной методике преподавания языков на романской кафедре.

В результате этого обалдуя, с его безупречным парижским выговором, верного члена партии и спортсмена, стажировавшегося год в Сорбонне, и столь успешно, что за него просил аж МИД Франции, после окончания оставили на кафедре в аспирантуре. И написали за него кандидатскую, и попробовали бы не зачесть ее защиту!

Так что теперь он в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности имени Кирова, «тряпочке», как ее называют, заведует кафедрой иностранных языков. И с нежностью вспоминает Париж: главное, говорит, хлопцы, в филологии – это хорошая физическая подготовка. Так что не рассчитывайте сильно на все эти учебники.

Самое смешное, что читать и писать по-французски он так и не научился. Дитя Больших Бульваров, гамен.

Пан профессор.

Океан

Как начинал другую повесть, о другом герое, другой ле-

нинградский писатель, некогда гусар Империалистической войны и поэт: «Это был маленький еврейский мальчик». Да… Ну так мы о другом мальчике. Он жил в Ленинграде, чисто мыл шею и ходил со скрипочкой в музыкальную школу. Его, естественно, били; и он мечтал вырасти большой и дать всем сдачи.

Потом была Блокада, и мальчик едва жив остался, голодный и дохленький. Ладно дядя не забывал. А дядей его был военно-морской журналист и известный флотский драматург Александр Штейн. Он им помогал, поддерживал, и идеалом мальчика стал военный моряк. Дядя приезжал с друзьями, в черных шинелях, в блестящих фуражках, с умопомрачительными вкусными вещами из флотского пайка – люди высшего мира! Мальчику завидовали во дворе, временно переставали бить, а наоборот – спрашивали: верно ли это его родной дядя. Такое родство его необычайно возвышало в глазах самых страшных хулиганов: морские офицеры, орденоносцы, фронтовики – герои!

Естественно, флотский офицер выглядел в его глазах венцом эволюции. Он понял свое призвание и начал готовиться к военно-морской карьере. Принялся читать книжки про корабли и сражения, делать по утрам зарядку, и летом учился плавать на Неве. Последнее, правда, ему плохо удавалось по причине крайней хилости интеллигентского организма. Согласитесь сами – а интересно представить себе еврейского скрипача в качестве бравого военно-морского командира.

Дядя сажал его на колено, угощал сгущенкой и пайковым шоколадом, и спрашивал:

– Ну, вырастешь – кем будешь?

И мальчик, жуя шоколад и восторженно глядя на ордена, исправно отвечал:

– Военным моряком!

Что приводило в восторг дядиных сослуживцев и являлось поводом налить еще по одной.

И, кончив школу и отпиликав на выпускном балу, он решительно зашвырнул на шкаф проклятую скрипочку и объявил, что поступает в военно-морское училище. В доме наступил ужас и большой бенц. Но мальчик проявил библейское упрямство, и все доводы о неинтеллигентности военной профессии от него отскакивали, как ноты от полена. Родители дали телефонный сеанс дяде: это он заморочил голову мальчику своими жлобами в черных шинелях!.. Но дядя за годы сотрудничества с флотом проникся военно-морским духом: загрохотал, одобрил, успокоил, и сказал, что все прекрасно, там из их хилого сына сделают настоящего мужчину, пусть выпьют валерьянки и радуются! а на скрипочке он сможет играть во флотской самодеятельности, чего ж лучше!

Ну, в первое училище Союза – имени Фрунзе, бывший Императорский морской кадетский корпус, ему не светило: там готовили чистокровных командиров, строевиков-судоводов, флотскую аристократию, и еврею там ловить было нечего. Тем более на дворе стоял пятидесятый год – не кли-

мат пятой графе. Имени Дзержинского тоже не шибко подходило – блеску много. Но Высшее военно-морское радиотехническое имени Попова (изобретшего в девятьсот пятом году то радио, по которому в девятьсот четвертом броненосцы в Цусиме переговаривались) тоже было ничем не хуже. Это черное сукно формы, это золото шевронов, эти тельники в вырезе голландок – дивное училище. Тем более что радио – это нечто вполне научное и интеллектуальное, тут мало кулаком и глоткой брать, еще и головой соображать надо: и мальчик решил, что это – самое для него подходящее, прекрасное военно-морское училище.

Он подал документы, и их у него в приемной комиссии неохотно взяли, с непониманием и жалостью глядя, и переспрашивали, туда ли он пришел? И ласково советовали поступать в Институт связи или в Университет, или в крайнем случае играть на своей скрипочке в консерватории. И вообще интересовались, кто это у них в роду был моряком, а если да, то в каких именно морях плавал: с чего это мальчику пришла в голову такая странная, знаете ли, мысль?..

Но мальчик убежденно объяснял, что он с детства готовил себя к морской карьере, отличный гимнаст, замечательно плавает, и они зря сомневаются. А дядя его – морской офицер и любимец флота, журналист и драматург Александр Штейн.

При этом известии комиссия переглянулась сочувственно, и морского племянника направили сдавать экзамены.

Ну – вот такой был юный еврейский романтик моря, которому дядя, совершающий морские геройства в своем уютном книжном кабинете за письменным столом, загадил мозги. Мальчик читал Киплинга: «Былые походы, простреленный флаг, и сам я – отважный и юный!» Он уже стоял на мостике, корабль пенил море, пушки громили огнем врага, и белокурая невеста на берегу заламывала тонкие руки.

Он благополучно сдал экзамены и был вселен в казарму.

Совсем не о казарме мечтал он, когда его в детстве били. Настала суровая проза флотских будней. Романтику в ней не удалось бы найти и саперу с миноискателем и собакой, только флотскому любимцу-журналисту. Дрючили курсачей в хвост и в гриву, царил культ грубой физической силы, по ночам его за разные интеллигентские упущения гоняли драить гальюн, и до прискорбного не наблюдалось военно-морского благородства и подвигов.

Но он вздыхал, сжимал зубы, крепился, говорил себе и окружающим, что адмирал Нельсон тоже был хилого сложения и здоровья и не переносил качки, вечно командовал с брезентовым ведерком на мостике; его выслушивали с интересом, а потом давали по шее и гнали драить палубу шваброй – чтоб понял службу и много о себе не воображал. Это тебе не на скрипочке играть.

Ему вечно хотелось спать, хотелось есть, от тупых разговоров в роте о бабах и деньгах он изнывал; в город в увольнения его за недостаток военной бравости выпускали очень

редко, и он через пару лет стал сурово задумываться, что, может быть, и в самом деле избрал не ту карьеру. Тем более что все окружающие его в этом усердно уверяли. Но, знаете, уже самолюбие не позволяло дать задний ход.

На четвертом курсе самолюбие поумнело и стало сговорчивее. Набив мозоли шваброй и турником, ободрав ногти за плетением матов, нажив гайморит вечными простудами в бассейне и радикулит за шлюпочной греблей, он утомился. Осознав это, он известил училищное начальство о своей утомленности и разочарованности: решил расстаться с военно-морской службой.

Если б он это раньше осознал, его бы обняли и прослезились; и выписали сухой паек на дорогу. Но он принял решение уже после принятия присяги: крайне удачно!.. Душа его была уже внесена в реестры Главного управления кадров ВМФ. И хода назад не существовало. На него наорали – у них тоже свой план по успеваемости и выпуску офицеров! – и приказали оканчивать училище: а там пусть катится хоть к черту! И он стал доучиваться.

Подошел выпуск, и бравому курсанту Штейну вручили кортик и лейтенантские погоны. К этому торжественному и трепетному моменту выпуска и посвящения в офицерское звание он дошел уже как раз до той кондиции, что готов был погоны съесть, а кортиком – заколоться, и только врожденная еврейская застенчивость помешала ему поддаться порыву прямо на церемонии – что внесло бы в эту единообразную

и монотонную процедуру несомненное художественное разнообразие.

Тем более что почти весь курс гремел на Тихоокеанский флот, а новоиспеченный лейтенант Штейн не любил ни камчатских крабов, ни японских самураев. И вообще это слишком далеко, а кроме того, его укачивало. Потом, за дальностью расстояний слава дяди-драматурга могла туда не дойти, кто ее знает, сик транзит глория мунди, что дополнительно осложнило бы службу. Как можно заметить, в его взглядах на службу начала проявляться первая необходимая черта настоящего командира – спокойная циничная трезвость.

С этой трезвостью он во второй раз в жизни прибег к помощи дяди (если считать моральную поддержку при поступлении за первый): в конце концов, это ты меня совратил своими шоколадками и пропойцами в черных шинелях, так помоги же родному племяннику избежать харакири близ японских вод.

И дядя устроил ему чудесное распределение на Балтику, в Таллинскую базу флота – Палдиски. Прекрасный климат, близость от культурного центра, ночь на поезде от Москвы, пять часов на машине от Ленинграда. Сказка, а не распределение.

Вот так нежданное наказание постигло Таллинскую базу Балтфлота. Потому что офицерская служба по-своему не слаще и уж тем более не романтичнее курсантской. Ты отвечаешь за подчиненных матросиков, а матросик по природе

своей любит облегчить себе работу, сходить в самоход, выпить, а с целью последнего – стащить втихаря все, что можно обменять на выпивку. Хотя в основном тащат старшины. В море, конечно, легче, но, во-первых, в море Советский Военно-Морской Флот выходил редко, и это событие гордо называлось – поход. За это даже значки давали личному составу – «За дальний поход». Что, значит, был в море. Во-вторых, опять же, в море бывает качка, в качку тянет блевать; пардон.

А о чем думают лейтенанты? О карьере думают. Чтоб средь подчиненных царили тишина и порядок, а начальство ценило и продвигало. О чем же, в свою очередь, думает лейтенант Штейн? Он думает о жизни, о человечестве, литературе, и чтоб флот не мешал этим мыслям, надобно с него скоренько и половчей уволиться. Он интеллигент, он творческая натура, он пишет стихи и печатает их во флотской многотиражке: «Задрайка люков штормовая и два часа за сутки сна!»

Сочиняет он, значит, такие стихи, а на борт поднимается для проверки командующий базой. И притопотавший по трапам дежурный по кораблю лейтенант Штейн молодцевато отдает ему рапорт.

– Лейтенант! – с омерзением цедит адмирал. – Что означает повязка «рцы» на вашем левом рукаве?

– Дежурный по кораблю, товарищ адмирал!

– Дежур-рного не вижу.

– Й-я!

– Не вижу дежурного!

– Э?.. Лейтенант Штейн!

– Штейн… Что должен иметь дежурный офицер, кроме повязки?!

– Э-э… знание устава? голову?..

– Головы у вас нет и уже не будет!!! И я позабочусь, чтоб по бокам головы у вас не было погон!!!

– Так точно, товарищ адмирал!

– Оружие! Оружие должно быть! Личное! Пистолет!

– Так точно – личный пистолет! Системы Макарова!

– Макарова! Идиот! Где?

– Что?

– Где должно у дежурного офицера находиться личное оружие?!

– В кобуре?..

– Так! А кобура где должна быть?

– На ремне, на ремешках… на поясном ремне…

– А ремень? Где должен быть поясной ремень?

– На поясе?

– На поясе!!! Где у вас пояс? Талия у вас есть?!

– Ну… так точно.

– Где?! Где?! Где!!!

– Вот здесь… примерно.

– А ремень? Где на ней ремень?!

– А-а… нету? Нету…

– Я хочу видеть вас без ремня на поясе в одном-единственном случае: если вы на нем повеситесь, лейтенант Штейн!!! Где ваш ремень!!!

– Простите, товарищ адмирал… забыл надеть…

– Где может дежурный офицер забыть поясной ремень?!

– В гальюне.

– Что!!!

– Простите… я был в гальюне… по нужде, товарищ адмирал!.. услышал свистки… торопился к трапу для рапорта!

– Командира! – хрипит адмирал на грани удара. – Это… Бардак!!! пистолеты по гальюнам… дежурный без ремня… объявляю служебное несоответствие!.. на консервы пойдешь!!! Наказать! Примерно наказать!

И Штейн получает пятнадцать суток береговой губы.

Он вообще быстро стал местной достопримечательностью.

Это было время, когда офицер мог быть уволен из кадров по статье за морально-бытовое разложение. И не желавшие служить это использовали – умело и демонстративно разлагались. Они пили и куролесили, пока их не выгоняли, и тогда, с облегчением сняв погоны, устраивались на гражданке. Существовала даже целая лейтенантская наука, как уволиться из армии. Целая система приемов и уловок. Типа: лейтенант с опозданием прибывает утром прямо к полковому разводу на двух такси: первое с ходу тормозит прямо у ног командира перед строем, и оттуда торжественно выходит пья-

ный расстегнутый лейтенант, а из второго шофер бережно выносит его фуражку и надевает лейтенанту на голову; шик состоит в том, чтобы начать движение отдания чести еще при пустой голове, закончить же прикладыванием ладони уже к козырьку.

И Штейн куролесил как мог. Но перебороть интеллигентность натуры он все-таки не мог, и куролесил как-то неубедительно. Тоже пробовал пить, но мешало субтильное сложение и оставшийся слабым после блокады желудок, и банку он не держал. Пробовал выходить на развод в носках, отдавая честь адмиралу на стенке ботинком. Выпадал во время инспекции за борт. Вверенная ему радиослужба на учениях ловила то шведский сухогруз на горизонте, по которому, к счастью, промахивались, то вражьи голоса, которые каким-то удивительным образом усиливаются по корабельной трансляции, так что все в ужасе представляют себе поражение в неожиданно начавшейся Третьей Мировой войне и уже захваченный врагом Кремль… Другого бы уже под барабанный треск расстреляли.

Но ему не везло. Как-то к нему относились снисходительно. Он обрел репутацию вот такого поэта, интеллигента, человека тонкой душевной организации и романтика – безвредного, то есть, дурачка, потешающего моряков в их трудной службе. Офицеры, в скуке гарнизонной жизни, его обожали – кроме непосредственного начальства, которое увлеклось своего рода спортом: кто быстрее спихнет его со своего

корабля. Щегольством было спихнуть его недругу.

Пробовали сплавить его с командой на полгода на Целину, и потом еще полгода вылавливали по степям его дезертиров. Если отправляли на берег перебирать с матросиками лук или картошку, матросики неукоснительно загоняли овощ налево и, перепившись, дрались с комендантским патрулем. На него можно было твердо рассчитывать – что все будет именно не так, как надо.

Тем временем, заметьте, проходит то самое хрущевское сокращение миллион двести. Офицеров увольняют с флота, они плачут и молят оставить, потому что любят море и жизни на гражданке не представляют, – а лейтенант Штейн плачет и молит, что не любит море и хочет на гражданку, и продолжает служить. Такова особенная военная мудрость. Все наизусть знают, что драматург Штейн, личный друг главных адмиралов, его родной дядя и протежирует племяннику, и предпочитают не встревать в родственные отношения. Вдруг дядя куда стукнет, лапа неслабая; себе дешевле помогать расти молодому офицеру.

И Штейн вырастает до старшего лейтенанта. Этот праздник он отметил пропиванием месячного жалованья и безысходным рыданием.

Офицер рыдает, а служба идет. И он постепенно приспосабливается. У евреев вообще повышенная приспособляемость. Он ведет в Доме офицеров флотское ЛИТО. Ездит на совещания флотских корреспондентов. Посылает в изда-

тельство сборник стихов. И подходит время, и ему присваивают капитан-лейтенанта.

Жизнь кончена… Тянуть лямку еще пять лет… зато потом он выйдет с этим званием в отставку – и вот тогда, на закате зрелости, начнется вторая, она же настоящая, жизнь. И все будет еще хорошо. Он считает календарь…

А проверяющий кадровик, между делом:

– Как там у тебя этот чудик, ну, поэт, племянник Штейна? служит? жив?

– Ничего, товарищ адмирал. Конечно, не моряк… но старается.

– Ну хорошо. Дядя высоко вхож… ты не очень, в общем… понимаешь. Я б его, конечно, сам удавил… но ты не зажимай там особо. Срок очередного звания когда? представь, представь…

Штейн уже сговорил себе работку на берегу, уже купил ящик коньяку для отвальной, и тут ему сообщают радостную новость:

– Ну… ставь!.. Причитается с тебя.

– Да уж! – счастливо соглашается он.

– Представили на капитана третьего ранга. Слыхал?

– Кого, – говорит, – представили? Куда?..

– Тебя! Иди – покупай погоны с двумя просветами.

Штейн оседает на пол, потом встает и идет в гарнизонный магазин покупать веревку. Господи, не по вине кара. Это означает ждать отставки еще пять лет! Этого он не вынесет.

Сказано – сделано. Вместо хождения на службу он садится вплотную к праздничному ящику коньяка и неделю справляет по себе поминки. А выпив ящик, последнюю бутылку сует в карман, садится в поезд и едет в Москву. К дяде. Плюнув на гордость, он решает обратиться за помощью к великому драматургу и каперангу в отставке своему дяде в третий и последний раз в жизни.

И он вваливается в дядину шикарную квартиру на Кутузовском. И дядя встречает явление племянника-обалдуя с неудовольствием. Потому что такой родственник-недотепа несколько марает его моряцкую репутацию. Помогал ему, помогал, а все без толку…

Племянник снимает шинель, трет лапкой трещащий лоб, получает добрый шлепок по загривку и добрую чарку на опохмел:

– Ну… как служба идет? Чем порадуешь? Пора и очередное звание получать.

При слове «звание» племянник искажается обликом, приземляется мимо стула, плачет и говорит:

– Дядя! Ты же знаешь, что я, в общем, не офицер. Я по натуре сугубо штатский человек. Я учился играть на скрипке и окончил музыкальную школу. Я поэт. Я пишу стихи. У меня даже книжку хотели в издательстве принять…

– Что же – скрипка! – гремит дядя, человек крупный и удачливый, без сантиментов; набрался душевной грубости у адмиралов. – Римский-Корсаков тоже был композитор, а ка-

кой морской офицер был!

– Дядя, – говорит Штейн. – Я не Римский, а ты не Корсаков. Ему хорошо, он бронзовый памятник. А моих сил больше нет. Если мне дадут капитана третьего ранга, я застрелюсь.

– Странное отношение к карьере, – не соглашается дядя. – А чего ж ты хотел – сразу прыгнуть в адмиралы? Послужи сначала.

– Не буду служить! – буйствует племянник. – Это ты во всем виноват!

– Ах ты щенок! – говорит дядя, капеpанг в отставке и великий военно-морской драматург. – Да если бы не я, ты бы вообще в училище не поступил…

– Да, – вопит племянник, – и был бы счастлив! Это ты – «кем ты хочешь быть! кем ты хочешь быть!» – погубил мою жизнь!..

– …тебя бы законопатили на Чукотку, там бы ты хлебнул лиха по уши!

– И прекрасно! на Колыму! и давно бы застрелился и не мучился!

– Я все для тебя сделал! Чего ты теперь еще от меня хочешь?

Подведя беседу к нужному вопросу, племянник переселяется с пола на стул. И внушает вкрадчиво:

– Слушай… ты ведь запросто за руку со всеми адмиралами… с нашим командующим…

– Да уж… – кивает дядя не без самодовольства. – Потому что – уважают!

– Вот. Послушай. Ты бы не мог встретиться с адмиралом Головко, и раз в жизни попросить… если б он подписал… он ведь тебе не откажет… – И подает дяде заготовленный рапорт об увольнении в запас.

– Нет, – говорит дядя. – С такими просьбами я к нему обращаться не буду. Наши отношения, знаешь, иного рода. Нет. Не стану я его о таком просить.

Штейн принимает позу, по сравнению с которой умирающий лебедь Плисецкой – это марш энтузиастов. И тихо шепчет:

– Тогда прощай, дядя… Я тебя любил. Я гордился тобой. Прости, что причиняю вам такое горе… прошу никого не винить…

Выдергивает из брюк ремень и норовит пристроить петлю к оконному карнизу.

– Прекратить!! – грохочет кулаком бездушный дядя, солдафон от маринистики.

Тут в комнату впадает его жена, племянникова тетя, которая всю эту душераздирающую сцену подслушивала за дверью, и говорит:

– Сашенька, есть у тебя душа или нет у тебя души? Ты посмотри – на мальчике ж лица нет. Он же над собой что-то сделает, ты что, не понимаешь?.. Я всегда говорила, что нельзя отдавать мальчика во флот. Все эти твои матросы –

они такие грубые. Они пьют, как биндюжники, они ругаются – это тихий ужас! Я после них неделю мою квартиру и проветриваю от табака и портянок.

– Моряки не носят портянок!!!

– Скажите пожалуйста! А что они носят? Это так важно? Или у тебя много племянников?..

– Не лезь не в свое дело! – гремит дядя.

– Это мое дело! – кричит ему тетя. – И не смей на меня кричать! Кричи на своих адмиралов, так их ты боишься!

– Я боюсь?! – орет дядя. – Да я – член правления… кандидат ЦК…

– Так почему ты не можешь пойти в гости к этому Головко? Он к тебе прислушивается, я же знаю. Они же понимают, что ты умный человек. Что тебе стоит? Ну хорошо – выпей с ними, посиди, я тебе разрешаю.

– Никуда не поеду, – отрубает дядя.

Штейн подставляет стул к своей петле на окне и закрывает глаза.

– У тебя есть сердце? – спрашивает тетя. – Или у тебя нет сердца? Ты посмотри, что делается с ребенком. Если бы я была его министром, так я бы давно отпустила его куда он хочет. Какое море? Только Черное. Мальчику необходимо курортное лечение, это кожа и кости. У него совсем слабые нервы. И вообще ему нисколько не идет эта форма, ты посмотри на него – и это матрос?..

В конце концов дядя плюет, звонит Головко домой, наде-

вает свою шубу на бобрах, сует в карманы две бутылки армянского коньяка, вызывает из гаража свой персональный «ЗиМ» и едет к Головко.

Головко принимает его сердечно, ставит, в свою очередь, свой коньяк, вестовой накрывает стол – серебряные подстаканники, нарезанный кружевом лимончик, балычок-икорка с разных флотов; пьют они коньяк и чай по-адмиральски (а чай по-адмиральски – это так: берется тонкий чайный стакан в серебряном подстаканнике, наливается крепчайшим горячим свежезаваренным чаем, бросается ломтик лимона и сыплется три ложечки сахара; а рядом становится бутылка коньяка. Отхлебывается чай, и доливается доверху коньяком. Еще отхлебывается – и еще доливается. И вот когда стакан еще полный, а бутылка уже пустая – это и есть настоящий адмиральский чай). И с удовольствием беседуют. Головко говорит о литературе, Штейн говорит о флоте, и очень оба довольны поговорить с понимающим и компетентным собеседником.

И дядя, как бы между делом, в русле застольного разговора, повествует в юмористическом ключе, чтоб никак не дай Бог не отягчить настроение хозяина, всю историю злоключений своего племянника – как отвлеченного флотского офицера, не называя фамилий. И адмирал совершенно благоприятно это воспринимает, заливается смехом и переспрашивает подробности, войдя во вкус, слезы утирает и за живот держится. Такой юмор ему в кайф: до боли знакомая

фактура.

А в заключение рассказа дядя эффектным жестом выдергивает рапорт своего племянника и кладет перед Головко. Головко, еще похрюкивая, тянется за очешником, надевает очки, читает рапорт и закатывается диким хохотом:

– Ох-ха-ха-ха! – лопается. – Так это что – с твоим племянником все это было? Ха-ха-ха! Ну, ты драматург!

Это, значит, дядя придумал такой драматургический ход. И теперь с удовлетворением видит, что все он рассчитал правильно – ударный сценический ход по адмираловым мозгам, сюжет свинчен истинным драматургом, что адмирал и признал: никакого неудовольствия у него, а сплошные положительные эмоции. Хороший дядя драматург. Настоящий. Крупный.

– Вот, – говорит, – хо-хо-хо! такая, понимаете, история. Так что, если можно… не моряк, что поделать.

– Ох-ха-ха-ха! – надрывается Головко. Развинчивает авторучку, чертит в углу рапорта собственноручную резолюцию, размашисто подписывает, складывает лист и швыряет через стол дяде. – Ну, спасибо за спектакль! потешил старика! А я-то думаю, откуда это ты в таких подробностях все это знаешь!.. Погоди-ка, – и жестом велит вестовому поставить еще бутылку. – Выпьем еще, посидим. Давненько я так не веселился! Ну-ка расскажи еще раз, как это он шпалер в гальюне забыл… ха-ха-ха!

И к двум ночи вдребезги пьяный дядя, знаменитый дра-

матург Штейн, является на своем «ЗиМе» домой. Шофер его вводит в двери, дядя, с красной физиономией, сильнейше благоухая на весь дом хорошим коньяком, благодушный и снисходительно-гордый, падает в своей распахнутой шубе в кресла.

А племянник, уже синий от непереносимого волнения – судьба решается! – бегает по стенам в полубессознательном состоянии. И смотрит на дядю, как блоха на собаку, которою можно прокормиться и выжить, а может она тебя и выкусить.

Тетя говорит:

– Сашенька, не томи же душу. Мальчик весь извелся. Ну что, таки он подписал это заявление? Прошу тебя!

Дядя лыбится и извлекает из себя звук:

– Ы!.. салаги!.. на!

И гордо пускает племяннику через комнату порхающий рапорт.

Тот его ловит, вспыхивает счастливым лицом, дрожащими руками разворачивает, и читает наискось угла крупным твердым почерком резолюцию:

И этот личный верховный приказ так шарахнул его по нежному темечку, что он беспрекословно убыл к месту службы и безмолвно тянул лямку положенные еще пять лет. И больше он к дяде не обращался ни по каким вопросам никогда в жизни.

Но дядя же недаром был великий драматург. Он был

крупной и сообразительной личностью, и ежели бы угодил на флот самолично, а не племянник, то уж он бы дослужился точно до адмирала, невзирая на образованность и национальность. Потому что он, в отличие от неудачника-племянника, обладал в полной мере главным достоинством людей, умеющих добиваться любых целей, – умением обращать свои поражения в победы.

Потому что все это он скомпоновал в форме пьесы, использовав все детали и подробности, вплоть до включения в текст подлинных стихов бедолаги-племянника. А идея пьесы полностью соответствовала командной директиве Головко: пускай послужит! Пьеса получилась в меру смешная, в меру драматичная, и вполне назидательная для среднего флотского комсостава. И театры ее взяли на ура.

Называется пьеса «Океан». Люди постарше хорошо ее помнят.

Премьера состоялась в БДТ у Товстоногова, и билетики стреляли за два квартала. Вот что значит подойти к делу с умом и талантом.

Характерно, что недотепу-старлея играл Юрский, и зал аплодировал его выходкам и речам, а его положительного командира – сугубо положительный Лавров, игравший всех положительных от Молчалина до Ленина; этот расклад ролей в полной мере отразился на их собственных судьбах, когда первый много лет бедствовал, а второй процветал. Товстоногов умел видеть суть актера!.. Но это уже, как говорит-

ся, совсем другая история.

Легенда о Моше Даяне

Народ сам пишет биографии своих героев, ибо народ лучше знает, какой герой ему потребен. Биография героя – общественное достояние. Как все общественные достояния, она подвержена удивительным метаморфозам, а особенно, конечно, в Советской России, которая и вся-то есть такая метаморфоза, что аж Создатель ее лишился речи и был разбит параличом при взгляде на дело рук своих.

Правда же проста и отрадна. Когда в мае шестьдесят седьмого года победные израильские колонны грянули через Синай, взошла и в ночных ленинградских кухнях шестиконечная звезда одноглазого орла пустыни генерала Моше Даяна. И люди узнали, что:

Одноглазый орел (приятно ассоциировавшийся с великими Нельсоном и Кутузовым) не всегда был одноглаз и даже не всегда был израильтянином, по причине отсутствия тогда на глобусе государства Израиль. А родился он в Палестине, территории британской короны, и был соответственно подданным Великобритании. Профессиональный военный, кончал офицерское училище, а в тридцатые годы учился какое-то время в советской Академии Генштаба, тогда это было вполне принято (происхождение, в родительской семье еще не забыли русский язык, – нормальная кандидатура

для знакомства с военной доктриной восточного соседушки). Сейчас трудно в точности утверждать, на каких языках он общался с Гудерианом и де Голлем, посещавшими означенную академию в то же время; интересный там подобрался коллектив. По ним судя, учили там тогда неплохо.

Будучи здоровым парнем и грамотным офицером, в начале Второй мировой войны Даян служил капитаном в коммандос. И с началом боевых действий естественно оказался на европейском материке. Сохранился снимок: боевой офицерюга сухощавой британской выправки стоит, раздвинув ноги, на берегу Ла-Манша, в полевом хаки, со «стеном» на плече и биноклем на шее. Пиратская повязка через глаз придает ему вид отпетого головореза. Ла-Манш, из любви к истории заметим, снят с английской стороны, потому что глаз Даяну вышибли в сороковом году немцы в Дюнкерке, боевое ранение, они там вообще всех англичан вышибли со страшной силой вон за пролив, мясорубка знаменитая.

По натуре рьяный вояка (дали оружие и власть дитю забитого народа!) и ненавидя немцев не только как английский солдат, вдобавок потерпевший от них личный урон, но еще и как еврей, Даян настоял остаться в действующих частях, но его часть уже находилась вместе с прочими в Англии и никак не действовала. И он в нетерпении сучил ногами и бомбардировал начальство рапортами о диверсионной заброске на материк, в чем ему осторожные англичане предусмотрительно отказывали под предлогом холерического темперамента

и ярко запоминающейся внешней приметы – одного глаза.

Ну, двадцать второго июня сорок первого немцы напали на Союз, Черчилль возвестил, что протягивает руку помощи даже Сатане, если в ад вторгся Гитлер, эскадрильи «харрикейнов» грузились на пароходы, и Даян навел орлиное око на Восток. Срочно формировалась британская военная миссия в Москву. Даян подходил: фронтовой опыт, образование, знание страны и языка. И осенью сорок первого года он вторично прибыл в Москву в качестве помощника британского военного атташе.

Миссии союзников, естественно, сидели в Москве и пробавлялись процеженной советскими службами информацией о положении на фронтах. Положение было горестным, и информацию подслащали. Даян рвался увидеть все собственным глазом и видел регулярную фигу, равно как и прочие: во-первых, нечего им смотреть на разгромы, драпы и заградотряды, во-вторых – шлепнут ведь еще ненароком, кому охота брать на себя ответственность за то, что не уберегли союзника: головы и за меньшую ерунду летели горохом. Даян сидел в посольстве, пил на приемах, матерился на английском, русском и иврите и строчил бесконечные отчеты в Лондон.

Но после Сталинграда и Курской дуги ситуация изменилась. Пошли вперед. Запахло победой. Было уже что показать и чему как бы и поучить в упрек: мол, вот так вот, а вы чего там сидите. А поскольку взятие Киева было запланиро-

вано на 7 Ноября сорок третьего года как первая показная победа к назначенной торжественной дате, – последовало высочайшее указание допустить отдельных союзных представителей к театру военных действий. Чтобы убедились воочию в мощи и сокрушительном натиске Красной Армии и оповестили о них все прогрессивное человечество, трусливо и шкурнически отсиживающееся по теплым домам. Вот так Даян оказался командирован в качестве наблюдателя британской военной миссии под Киев, имеющий быть взятым к годовщине революции.

1-м Украинским фронтом, на каковой была возложена эта почетная миссия, командовал тогда генерал армии Рокоссовский.

И вот в ставке Рокоссовского от всех дым валит, форсировать осенний Днепр, с левого пологого берега на правый, крутой, укрепленный, под шквальным эшелонированным огнем, плавсредства в щепки, народу гробится масса, резервов не хватает, боеприпасов не хватает, сроки трещат, вся карьера на острие – сталинский нрав Рокоссовский на своей шкуре испытал, – и тут ему телефонист подает трубку ВЧ: «Вас маршал Жуков».

– Как дела?

– Действуем, товарищ маршал.

– Тут к тебе прибудет наблюдатель английской миссии.

– Слушаюсь, товарищ маршал.

Только этого мне еще не хватало для полного счастья!..

– Отвечаешь головой.

– Понятно, товарищ маршал.

Сожгли бы его самолет по дороге – и нет проблемы.

– Нос ему много совать не давай.

– Не дам.

– Майор Моше Даян.

– Как?

– Еврей, – поясняет Жуков.

– Так точно, – дисциплинированно подтверждает Рокоссовский.

А Рокоссовский был, как известно, человек характера крайне крутого и, как всякий порядочный поляк, антисемит отъявленный. И вот ему для облегчения штурма Киева английский еврей под нос. Для поднятия бодрости духа.

И сваливается это мелкое недоразумение: в уютной английской экипировке, с раздражающей повязкой вкось крючковатого носа, и с анекдотическим английско-еврейским акцентом докладывается, подносит свои комплименты и просится на передовую. В воду бы тебя да на тот берег! Зараза. Союзник. Дипломатия. Реноме. И высится над ним рослый, статный, белокурый красавец Рокоссовский, глядя своими светлыми холодными глазами, как дипломат на какашку за обеденным столом, и тут же спихивает его к чертям свинячьим с глаз подальше в сторону, в 60-ю армию к Черняховскому. Которая стоит себе давно уже на том берегу выше по течению, осуществляя ложный маневр: отвлекая на

себя внимание и силы немцев. И входить в Киев и участвовать в основных боях вообще не должна. Вот тебе тот берег, вот тебе передовая, и торчи-ка подальше от штурма; все довольны.

– Отправляю вас в самую боевую армию, вырвалась вперед, привет союзникам. – Чтоб они сгорели. И перестает об этом думать. Благо думать ему при штурме Киева и так есть о чем.

И счастливый, как блоха на лидере конных скачек, Моше Даян отправляется под конвоем усиленного взвода автоматчиков чуть не на сотню километров в сторону, на тихий край фронта, и командир взвода готов прикрыть его собственным телом от любой капли дождя, иначе головы не сносить, уж в этом Рокоссовскому доверять можно было всегда. Кротостью и всепрощением прославленный полководец не отличался.

И прибывает Даян в штаб командарма-60 Черняховского, жмет всем руки от имени фронтовиков братской Британской империи и достает много всякого хорошего английского пойла, и как-то они с Черняховским друг другу очень нравятся. Черняховский молод, удачлив, весел поэтому и дружелюбен, опять же приятна честь и доверие первому принимать союзника. И он отпускает Даяна в дивизию, где потише, поглядеть, наконец, на передовую, раз уж ему так невтерпеж:

– Обеспечь! Мужик понимающий, фронтовик, глаз в бою потерял.

Таким образом боевитого и любознательного Даяна с бережностью царствующей особы эскортируют в траншею, где всем строжайше приказано каски надеть, дерьмо присыпать, котловое питание подвезти, выбриться, предметы трофейного обмундирования убрать и идиотскими бестактными вопросами важного политического гостя в неловкое положение не ставить и вообще не ляпать чего не надо.

И сияющий Даян, именинник, Дед-Мороз, гордый представитель Ее Величества Королевы, раздает вокруг сигареты, шоколадки и презервативы, и торжественно наливают ему в солдатскую манерку супа, и подают из-за голенища ложку, обтерев ее деликатно об рукав под страшными офицерскими взглядами, и тут с немецкой стороны с жутким воем летит чемодан и покрывает весь этот праздник братания землей и осколками.

Немецкий край ревет артиллерией, массированный артналет, сверху сваливаются «юнкерсы» и перемешивают все в окрошку: все правильно, контрудар по фланговому выступу русских, угрожающему Киеву с севера. Черняховский ведь по замыслу командования оттягивает силы немцев на себя – ну и оттянул. А сил у немцев до черта, хватит и на недобитого английского наблюдателя. И все зарываются поглубже в землю и Даяна под себя зарывают.

А когда стихает весь этот кошмар, уходят бомбардировщики, артогонь перекатывается дальше вглубь, оглушенный Даян кое-как приходит в себя и приподнимает нос погля-

деть, что там вокруг делается, выкапывается наружу из-под земли и тел, и обнаруживается, что он влип. Завязывается бой, и рядом с ним во всей этой каше и неразберихе как-то вдруг не оказывается никого живых, и бежать некуда: сзади перепаханное сквозь простреливаемое пространство. А на него прет цепь автоматчиков. Сдаваться в плен никак невозможно, еврею в плену ловить нечего, да и английская миссия, долг, честь обязывает. А рядом стоит пулемет, вполне знакомой старинной американской системы «максим». И поскольку делать ему все равно больше ничего не остается, он ложится за пулемет, и пулемет, слава Богу, работает, исправен.

И он вцепляется в пулемет и начинает садить по этим наступающим автоматчикам, благо стрелять его учили хорошо, а патроны пока есть. И всех мыслей у него, чтоб пулемет не заело и патрон не перекосило, потому что ленту подавать некому. А также чем это все кончится и когда кончится. И сколько это продолжается, в бою сказать трудно.

Короче, когда туда подошли наши и выровняли край, оказалось, что весь тот пятачок держал он один со своим пулеметом, из которого пар бил, в лохмотьях английской шинели, рожа копченая оскалена и глаз черной тряпкой перевязан. И куча трупов перед ним на поле. Поглядел он уцелевшим глазом, вздохнул и отвалился.

Дальше получается, что в лоб через реку Рокоссовский Киев не взял. А взял его самовольно без приказа его под-

чиненный Черняховский. Двигаясь с севера посуху, так развил успех своего отвлекающего удара, что уж вошел заодно с ходу в Киев. За что и должен был получить от разъяренного командующего фронтом Рокоссовского здоровеннейшей п… Только решение Жукова и спасло: победителей не судят, главные лавры все равно комфронта, пусть считается, что так и было задумано.

А когда взяли Киев, и установили всю связь, которая в наступлении всегда рвется, и доложились по команде, и все разрешилось ко всеобщему удовольствию, то получилось, что Даяна надо награждать. А награды за Киев, кто под взгляд попал из живых в строю оставшихся, давали довольно щедро. И обойти союзника как-то совершенно невозможно, неловко и дико недипломатично.

Рокоссовский между делом вспоминает:

– Что там у тебя этот одноглазый?

И Черняховский с некоторым садистским злорадством докладывает, что чуть и второй глаз не выбили, так и так, товарищ командующий фронтом, пустили посмотреть на передовую, и… того… угодил под обстрел и немецкую контратаку.

– Н-ну? Я т-тебе что!!!..

Никак нет, все благополучно и даже отлично. И Черняховский блестяще аттестует Даяна, и получается по докладу такая картина, в общем соответствующая реальности, что данный английский офицер личным участием, собственноруч-

ным огнем из пулемета удержал важный участок плацдарма, уничтожив при этом до роты живой силы противника и проявив личное мужество, героизм и высокую боевую выучку. Чем лично способствовал успешному развитию наступления, завершившегося освобождением столицы Советской Украины города Киев к назначенному сроку. И укладывается описание совершенного подвига абсолютно точно в статут о Герое Советского Союза. Стратегически важный участок, спас положение, предотвратил вражеский прорыв нашей обороны, сам стрелял, уничтожил, удержал, плацдарм, наступление, победа. Привет. Положено давать.

Рокоссовский плюет, он всегда знал, что от этих евреев и англичан одна головная боль, никаких наградных листов с разгону не подписывает, а в докладе Жукову упоминает: с союзником тут небольшая заковыка.

– Что такое.

Да как-то ненароком, недосмотрели, на Героя наработал.

– Твою мать. Я предупреждал.

Личное мужество. Плацдарм. Совершил. Настрелял. Так чего?..

Но таких указаний, чтоб английским наблюдателям Героя давать, не предусматривалось. А Хозяин никакой непредусмотренной информации не любит. Хотя в принципе наградить союзника будет уместно, правильно.

И Жуков с медлительностью скалы роняет:

– Значит, так. Дай ему своей властью Знамя. Хватит.

То есть Героя дает Верховное Главнокомандование и подписывает Президиум Верховного Совета, Москва, а Боевое Красное Знамя командующий фронтом вправе дать на своем уровне, и дело с концом.

И гордый Даян щелкает каблуками и летит в Москву хвастаться перед коллегами.

Вот так командующий Армией обороны Израиля Моше Даян стал кавалером ордена Боевого Красного Знамени.

Легенда о заблудшем патриоте

1. Драп

Как жили! Братцы мои, как же мы хорошо жили! Водочки выпьешь, колбаской с батончиком белым закусишь, сигаретку закуришь… и никаких беспокойств о будущем, потому что партия по телевизору все уже решила: стабильность.

Да – одобряли. А чего надо – осуждали. А кого надо вовремя расстреляли бы – так и до сих пор были бы великой державой.

Драпануть бы, так ведь не пускают уже никуда. Не впускают, в смысле. Не то, что раньше: везде объятия раскрывали жертвам Софьи Власьевны…

Вспомнишь – так это даже удивительно, на какие изобретения отваживался наш советский человеческий гений, что-

бы незаконно пересечь священную границу и удрать в классово чуждый мир капитала. Когда военные летчики дули в Японию и Турцию на МИГах – ну, истребитель на то и создан, чтобы в воздухе никто и ничто не могло ему помешать. Но вот когда два бюргерских семейства из Восточной Германии самосильно мастерят в сарае воздушный шар и, спев: «Была бы только ночка потемней!..» влезают в корзину и с попутным ветром отбывают на Запад! – так ведь они еще и любимую собачку прихватили, обвязав ей морду понадежнее, чтоб лай из мглы небесной не нарушил мирную службу пограничников. Тьфу на Жюль-Верна и его художественное предвидение!..

Это что же, спрашивается, нужно было изделать над щирым украинским селянином, чтобы в противоположном конце света, в Корее, под взглядами родной тургруппы и автоматами бдительных северно-корейских пограничников – помчаться противоприцельными зигзагами в объятия реакционного южнокорейского режима. Чесали через Балтику в тумане на скоростном катере – ладно, солдатик одурел два года глазеть на экран радиолокатора, он захмелился удачно и курит в мечтах о дембеле, да и все равно догонять тот катер нечем, а с вертолета сквозь такую муть не видно ни черта: да и пока тот вертолет взлетит!.. Но вот из Новороссийска один мореплаватель отбыл удачно в Стамбул на надувном матрасе, подгоняемый бора́: рассчитал курс, скорость, время, снизу подвязал второй матрас и пакет с водкой и шоколадом, а

если и засекут с воздуха – ах, спасибо спасителям, унесло в море, мол. А еще парнишечка один, гадюка подколодная, тот просто уполз из Карелии в Финляндию через дренажную трубу: солидолом для тепла и скольжения обмазался, одежду в резиновом мешке к ноге привязал, ножовку в зубы – и вперед, решетку стальную выпиливать, пока наряд обратно не прошел. Господи, да что понимал в побегах тот граф Монте, понимаете, Кристо в своей расхлябанной либерализмом Франции!.. К парнишечке потом – репортеры тучей: ах, какие политические гонения заставили вас бежать от тоталитарного режима таким опасным путем? Да не столько опасным, сколько узким, говорит, и мокро было: никаких гонений, но просто я ужасно мечтал пойти вокруг света на яхте, а кто пустит?.. Те так и сели.

Вообще тема эта была неисчерпаемая, щекочущая крамольным злорадством – заграницу-то видели в трех видах: в подзорную трубу, в гробу и по телевизору; так дай хоть посудачить о тех, кто показал закону большой фиг. Хотя закон был простой и здравый: сбежать захотел? – вот тебе семь лет каторги, и трудись во благо, учись ценить ту свободу, что имел хотя бы внутри границ.

Главное зло была, конечно, авиация: летает, дрянь такая, и не всегда туда, куда надо. Вскоре после войны у нас для блага народа воздушные такси придумали, самолетики Як-12, так они на Кавказе так поперли по ущельям за бугор, а подобной услуги гражданам власти отнюдь в виду не имели,

что скорей предпочли пересадить граждан обратно на ишаков. Как раз тогда руководил ДОСААФом товарищ Ворошилов, и он, полный закоренелой ненависти старого конника к авиации, прижал все аэроклубы к ногтю, оставив со скрипом лишь планеристов и парашютистов: без мотора, значит, недалеко учапаешь, контра.

Невозвращенцы всякие – это было неинтересно, чего ж не остаться, если ты уже туда комфортным образом попал: смаковали только – кого из ответственных чинов вздрючат потом за слабую идеологическую работу с подчиненными. Пикантно, правда, смотрелось, когда вся группа возвращалась в некоей стыдливой растерянности, а ее руководитель, стократ проверенный КГБ сотрудник с анкетой столь блистательной, что на международной выставке чистопородных гончих впору большую золотую медаль получать, – трусливо, как писали тогда газеты, озираясь, лакейски семенил в сторону буржуазного посольства. Тогда руководящая рука отвешивала ответственным товарищам особенно крепких подзатыльников, чьи-то карьеры булькали в болото, и хоть в мировом масштабе это пустяк, а все-таки простым людям приятно!

Хотя и здесь не обходилось у нас без несправедливостей. В порту к штурману жена приходила, так он ее вывез в Англию в ящике для постельного белья. То, что они в Англии остались – это уже печаль англичан, с нашими ребятами везде хлопот не оберешься, а на судне – еще три штурмана, не

потонут чай, а в резерве – так просто толпа штурманов ногами сучит, в Англию хочет; но вот за что закрыли визу, влепили строгачей и применили прочие репрессии к капитану и первому помощнику? Ну, первому – за дело, его затем на судне и держат, чтобы советский строй во всем превосходил все остальные, но как прикажете капитану штурмана воспитывать? Спать с ним в портах вместо жены? Нет, капитана жалко…

К счастью, все это в прошлом… Сейчас иначе. Просто стало все. Билет в Америку? ради Бога – свободно. Зарплату за десять лет скопи – и за въездной визой. Кто ее тебе даст, кому ты там нужен? а-а, сколько лет тебе большевики это твердили: никому ты там не нужен, – теперь убедился? Скучно, господа… Вот когда один зимой в метель дунул в Швецию через залив на «Жигулях», по льду, со свистом – и домчался, опять же догонять не на чем его было – о: это была – романтика; приключение, порыв.

Но – бывали истории совсем иные, даже – обратные: непредвиденные случались истории; непредсказуемые!..

2. Жертва грибного спорта

Воскресным летом на ленинградском заводе «Серп и молот» устроили день здоровья. Затоварились водкой, оделись в спортивные костюмы и поехали в собственном автобусе по грибы. На Карельском перешейке знатные грибы растут.

Опять же, в соленом и маринованном виде под водочку летят необыкновенно. Свежий воздух, хвойный лес, домашняя закуска – что еще человеку для здоровья надо? Прикатили, выпили, душа песен запросила.

Пьют себе и поют. Поют – и пьют. И закусывают.

Напелись. Стали грибы собирать. Грибной, кстати, год выдался. Птички чирикают, озера блестят; собирают грибы. Собрали. Сели обедать, костерок разложили: выпили. Допили. И усталые, но довольные, полезли в автобус.

В автобусе спорторг сделал перекличку. И показалось, что выезжало их на одного больше. Пересчитали два раза – не хватает. Пьяных по головам перечли – все равно не хватает. По списку пальцем проверили: инженера Маркычева не хватает!

Разозлились: ехать пора, носит его нелегкая! Погудели. Подождали. Покричали. Нет инженера Маркычева.

Ну, вывалились из автобуса, заулюлюкали разбойничьими голосами, зааукали по лесу, засадили матюгами: нет Маркычева. Спорторг, ответственный за мероприятие, волнуется, прыгает: ищи его, товарищи! лес, как-никак…

До сумерек бродили и гукали, кайф весь без толку повыветривали: нет Маркычева. Заблудился, что ли. И черт с ним! не ночевать же здесь! скотина, весь коллектив взгоношил, а сам уж, наверно, на попутной свалил домой. Поехали и мы!

Из дому ночью спорторг позвонил Маркычеву – нет: нету.

Назавтра приходят все на работу – нет инженера Маркычева.

Вот неприятность какая. Нехорошо… Заблудился человек. Бросили пропавшего товарища.

Ну, спорторг отправился в профком и докладывает: так и так… один заблудился, все решили, что он до станции дошел и электричкой домой вернулся, или на попутной, до ночи ждали… Сколько выпили, спорторга спрашивают. Да немного, никаких неприличностей не было. Верно, говорят, шофер тоже говорил, что на этот раз никто автобус не обрыгал.

Еще день-другой: не объявляется Маркычев. Заявили официально в милицию: заблудился наш товарищ, в таком-то месте и в такое-то время, одет в синий спортивный костюм и коричневые кеды, лет – тридцать семь, рост средний, волосы каштановые, просим вернуть к жизни и коллективу: ГАИ, морг, железнодорожная охрана, травматология. Нет Маркычева, как корова языком слизнула!

Объявление в розыск, фотография на плакате, щиты в вестибюлях и на вокзалах; переходит коллега Маркычев в пятое измерение, в некую абстрактную субстанцию…

Ну, тем временем спорторга переизбрали, лишили премии, вместо путевки на сентябрь в Евпаторию дали выговор с занесением в комсомольскую карточку; профоргу выговор; парторгу тоже выговор; как же мы потеряли человека, товарищи. По утрам обсуждали: как? нету? сколько времени можно блуждать в карельских лесах, не сибирская тайга все-

таки, не знаете вы карельских болот, там армии пропадали, не то что инженер; нет, должен в конце концов выйти к жилью, кому это он что должен? ага! городской интеллигент, ножку подвихнул, на грибах-ягодах недолго походишь, причем заблудившийся кругами ходит… поганку съест – и хватит мучаться… А у всех дела, дети, очереди, болезни, денег нет: говорили, что он, конечно, найдется, а про себя думали, что, конечно, с концами; своих забот хватает…

Бухгалтерия – с проблемой: когда найдется – платить ему как? отпуск за свой счет? вынужденный прогул? или больничный оформлять? Прогул – так долой тринадцатую зарплату и очередь на квартиру. Администрация: а сколько вообще ждать, чтоб на его место нового брать? А как его увольнять, по какой статье?

И за всеми текучими и неотложными живыми делами окончательно отплыл в туман инженер Маркычев, перестал даже и вспоминаться как живой человек, а превратился в некую условную человеко-единицу, которую надо грамотно списать, умудрившись соблюсти и учесть все сложные требования трудового законодательства и гражданского кодекса, что не так просто в наших условиях; ох, не просто!.. Зараза был этот Маркычев, нефиг бродить одному где не надо; расхлебывайся теперь за него… скотина!

И даже стало ясно представляться, будто сами его хоронили.

3. Явление балды народу

В ясный погожий осенний денек в двери советского посольства в Хельсинки позвонили. Дверь открыла какая-то мелкая посольская сошка, прекрасно, разумеется, одетая, с дипломатическим лицом; и увидела сошка образину ужасную и труднообъяснимую. Среднее между снежным человеком и мусорной крысой. Образина топорщила бурые лохмотья, шевелила клочковатой бородой и покачивалась на ветерке, держась за лакированный косяк черной когтистой лапкой.

– Боже, – произнесла образина слабым голосом. – Родные. Ай вонт рашн посол. Ай эм рашн гражданин.

Посольская сошка клацнула челюстью и растерянно спросила:

– Ду ю спик инглиш?

– Ес, – подтвердила образина, – но очень плохо. Сэр, ай вонт рашн посол, пожалуйста…

– Чем могу быть вам полезен, – ошеломленно осведомилась сошка, мужественно пытаясь заслонить некрупным телом родное посольство от неожиданной и неопределенной угрозы.

– Я заблудился, – в ужасе сказала образина, икнула и зарыдала, промывая слезами светлые дорожки на коричневом лице.

Мелкий сошка подумал о провокациях белогвардейцев и эмигрантов, опасливо выглянул в поисках фотокорреспондентов и тихо простонал:

– Господи, почему я…

В окно стоящего у тротуара автомобиля высунулся объектив камеры и зашелестел: съемка!

Сошка подпрыгнул, приосанился, оскалил любезную улыбку и проперхал:

– Очень приятно! Какие проблемы привели вас?.. – Покосился на камеру и принял позу светского дружелюбия, но руки прижал к бедрам, чтобы посетитель не произвел рукопожатие – от греха подальше.

Посетитель вытер глаза ошметками рукава, высморкался на тротуар (снимает, тоскливо отметил сошка) и сказал вразумительно:

– Товарищ! Я советский гражданин. Я заблудился и попал за границу.

– Как? – идиотски спросил сошка.

– Пешком! – трагически объяснил посетитель.

Журналист чертов или кто он там вылез из машины и приспособился снимать их в профиль.

– Ти-Ви! – приятельски бросил он сошке. – Рашн пипл ар вери интрестинг! Май лак! Совьет тревеллер, йес? Хиппи? Грин пис?

– Пройдемте! – взял на себя ответственность за решение сошка, с отвращением стиснул грязное тощее плечо посети-

теля и вовлек внутрь.

Посол сошел в холл с каменным лицом закаленного бойца и профессионала. Посетитель оскорблял своей особой жемчужно-серое лайковое кресло. Колени его дрожали в прорехах. Сигарета в черных когтях осыпала их пеплом. Узрев важную фигуру посла, он встал, колыхнулся на ножках и упал обратно в кресло.

– Я вас слушаю, в чем дело, – с бесстрастностью робота произнес посол.

Посетитель положил окурок в урну и сидя постарался принять стойку «смирно».

– Товарищ, я советский гражданин, – переходя с хрипа на свист доложил он. – По чудовищному недоразумению нарушил границу. Готов понести любое наказание по закону. Прошу помочь вернуться на Родину.

Посол на миллиметр приподнял правую бровь, сел напротив и вынул сигарету, под которой сошка щелкнул зажигалкой.

– У вас есть документы? – осведомился посол.

– Какие ж документы, – завыл посетитель, – я грибы собирал!

– Грибы, – кивнул посол и переглянулся с сошкой. – Где?

Посетитель сделал убитый жест:

– В Карелии.

Посол подавился сигаретой и выпустил дым из глаз.

– А – кх-х, – точнее?

– День здоровья… на автобусе привезли нас…

– На каком автобусе? Номер?

– На заводском. Профсоюзном.

– Какого завода? Откуда?

– С завода «Серп и молот».

Тут посетитель издал тихий мышиный писк и попросил:

– Поесть… не найдется… чуть-чуть, хоть что-нибудь…

Посол выдержал паузу и сделал движение подбородком. В холле произошла мелкая суета, в результате которой возник подносик с двумя бутербродами и бутылочкой пепси.

Посетитель зарычал, сглотнул бутерброды и вылил пепси на бороду.

Когда он отер бороду, вместо посла перед ним сидел контрразведчик.

4. На кого ты работаешь?!

– Итак, – приступил контрразведчик: – Кто вы такой?

– А? – спросил посетитель. – Товарищ…

– Как вы сюда попали?

– Какое сегодня число? – вместо ответа спросил посетитель.

– Двенадцатое сентября, – услужливо известил сошка.

– Боже мой… – прошептал посетитель и закрыл глаза.

Контрразведчик двумя железными пальцами принял его под локоток и сопроводил в свой кабинет, за двойные непро-

ницаемые двери. Посетитель остекленел и собрался с духом:

– Моя фамилия Маркычев. Паспорт серия VII-АМ номер 593828, выдан 10 октября 1977 года 31 РОМ г. Ленинграда…

– Покажите.

– Что?

– Паспорт.

– Нету.

– Почему?

– Не взял с собой.

– Почему?

– Не знал.

– Чего не знал?

– Что вы попросите.

– Естественно, – нехорошо улыбнулся контрразведчик.

– Что?

– Продолжайте.

– Чего?

– Рассказывать.

– А… Прописан Бухарестская улица, дом 68, корпус 2, квартира 160.

– И почему вы не там?

– Где?

– В квартире 160?

– 16 июля сего года мы проводили в цехе день здоровья… В лесу я заблудился…

– У вас цех в лесу?

– Нет. А что?

– Где расположен ваш цех?

Посетитель подумал.

– У нас режим, – сказал он.

– Какой?

– Ну. Режим.

– И что?

– Зачем вам расположение моего цеха? – с неожиданной бдительностью спросил посетитель.

– В цехе день, а вы в лесу заблудились? – тонко улыбнулся контрразведчик.

– День здоровья!

– И что же?

– В лес поехали!

– Кто? Фамилии, клички, быстро! Не задумываться!!

– Не-не-не не помню… – струсил посетитель. – У спорторга список. Вы позвоните, спросите…

– Номер телефона! Номер телефона!

– Я не знаю!!!

– А что ты знаешь?!

– Я хочу домой…

– Где твой дом?!

– Бухарестская, дом 68, корпус 2, квартира 160…

– Как ты сюда попал?!

– Через лес…

– Откуда? Координаты! Какое было задание?!

– Я заблудился!!!

– Отставить легенду!!!

– А?..

– Зачем вы пришли в посольство?

– Чтобы меня отправили домой…

– Прекрати бред!! – завопил контрразведчик и грохнул кулаком: на столе подпрыгнул бюстик Дзержинского. – Если ты хочешь домой, то какого хрена ты там не сидел?

– Я заблудился в лесу.

– Где?! Где?! Где?!

– В Карелии.

– Что ты там делал?!

– Собирал грибы.

– Где же грибы?

– Съел.

– И пошел сюда?

– Да.

– А почему же не домой, дубина?!

– Перепутал стороны… лес…

– Десять лет, – зловеще подытожил контрразведчик. – Десять лет строгого режима за нелегальный переход границы при отягчающих обстоятельствах. И ты хочешь сказать, что предпочел десять лет лагеря жизни здесь?

– Я не знал… за что…

– А ты что думал – по головке тебя погладят?!

– Что же мне делать?..

– Колоться!

– Чем?..

– Что – чем!! Сотрудничать! Рассказывать все! Чистосердечно признаться!

– В чем?

– А вот это тебе лучше знать, – нежно улыбнулся контрразведчик, достал бумагу и ручку, включил магнитофон и погладил успокоительно указательным пальцем бюстик. – Итак?

В животе у Маркычева заерзали неуютно и заурчали непрожеванные бутерброды. Он поежился, поскребся подмышкой и щелкнул когтями. Протрещал непроизвольный звук.

Контрразведчик дернул кадыком, отодвинулся и встал подальше. Маркычев поскреб в паху.

– Простите, – брезгливо спросил контрразведчик, – у вас нет… этих?..

– Этих? Какие-то есть… не знаю. Кусают, – пожаловался Маркычев.

– Вы когда последний раз мылись?

Маркычев пошевелил губами.

– Накануне… Пятнадцатого июля…

– Встать! Стул бери с собой. Напустил тут!..

5. Есть в жизни счастье

Маркычева сдали посольскому врачу. Врач посмотрел на Маркычева с брезгливой жалостью и надел резиновые перчатки. В голове у него завертелось забытое военное слово «санпропускник». Приставленный охранник внимательно следил, готовый при малейшей опасности обезвредить подозреваемого.

В ванной Маркычеву велели сложить одежду в пластиковый мешок. Этот мешок охранник доставил контрразведчику, и тот, плюясь и морщась, стал пороть швы и подкладки на предмет обнаружения шифров, инструкций, секретных карт и прочих шпионских вещей.

Маркычев же под горячим душем сладострастно застонал и прикрыл глаза. Доктор взял мочалку, подумал, взял унитазный ежик, намылил хозяйственным мылом и стал тереть. Коричневая корка, тая, ломалась и отваливалась под горячими струями, обнажая тощее ребристое тельце. Маркычев в экстазе выводил горловые рулады. Врач смахивал ежиком вошек с краев ванны в отверстие слива.

– Ох, – стонал Маркычев, – братцы… товарищи… родимые… хорошо-то как!.. и вот здесь, вот здесь потри!.. боже, дошел!..

Врач решал проблему: стричь клиента во всех местах наголо, или истратить на него пригоршню собачьего антибло-

шиного шампуня, купленного за кровные двадцать две марки. Любознательность победила: он полил ему волосатые места зеленой вонючей жидкостью, радужно вспенившейся, засек рекомендуемые на упаковке десять минут, и стал ждать, действительно ли сдохнут насекомые, и действительно не вылезет ли на Маркычеве шерсть.

Шампунь был хороший. Обеззараженный Маркычев долго вычесывал голову и растирался полотенцем. Потом он состриг распушившуюся бороду и побрился одноразовым лезвием. Потом протерся финским лосьоном «Барракуда» и обильно обрызгался финским дезодорантом «Барракуда». Потом потянулся к французской туалетной воде, но ее врач не дал:

– Хватит с тебя… не на приеме! Обувь – какой размер?

Пока доктор ходил собирать гуманитарную помощь пострадавшему, Маркычев воровато вычистил зубы докторской зубной щеткой, выпил полбанки докторского пива «Хейнекен» и выкурил из докторской пачки сигарету «Ротманс».

Его экипировали в вышедшие из употребления джинсы шофера, рубашку второго секретаря, ботинки военного атташе и носки охранника. Трусы доктор дал ему свои, советского производства. И повел на кухню кормить.

Вдохнув запахи изобилия, Маркычев затрясся и заплакал. Пугливо и сдерживая нетерпение подвинул тарелки поближе и начал жрать с неправдоподобной скоростью: суп, бананы,

куриные ножки, овсяные хлопья в молоке, хлеб, маргарин, чай с сахаром и сахар просто так, маринованную свеклу и подкисший мясной салат. Через сорок минут он еще не выказывал никаких признаков утомления. Раздувшись и встопорщившись, подобно шар-рыбе, наконец осовел и, склонив голову набок, стал храпеть, пукая и отрыгиваясь. Ему было хорошо.

Врач дал ему две таблетки фестала для облегчения пищеварения и уложил в изоляторе на чистые простыни. Сонный и разнеженный Маркычев поцеловал врача в щеку, врач дернул щекой и сказал, что медицина приветствует все виды половых отношений, вот только к гомосексуализму лично он относится скептически. Посоветовал пока копить силы.

6. Ротозей – но наш!

Через час Маркычев, захлебываясь от усердия и восторга, рассказывал свою одиссею консулу, особисту и секретарше, что потом и исполнял готовно на бис по первой просьбе любого желающего.

Углубившись в лес за грибочками, Маркычев безусловно заблудился. Спирт помогает ориентированию на местности только в одном случае – когда в нем плавает картушка компаса. Влито же внутрь алкоголя было изрядно. Мурлыча песню о рыжике, который будет соленый, Маркычев наполнил корзину отменной закуской – брал только белые, подосино-

вики и подберезовики. Но когда он вернулся к автобусу, на месте автобуса была сплошная чаща. Маркычев припомнил справочник пионера-туриста, который учил, что у человека левая нога длиннее правой, поэтому шаг левой на несколько сантиметров длиннее правого, поэтому в лесу человек всегда забирает направо, поэтому надо забирать налево, и тогда выйдет прямо. Он попытался измерить разницу в длине своих ног и пошел налево. К сумеркам он понял, что преувеличил разницу своих ног и взял слишком налево, и пошел направо. Хмель выветрился, ночь опустилась на глухой лес, и Маркычев ужаснулся своего положения: завтрашний прогул, выговор, скандал! Он разложил костерок, съел уцелевшие два бутерброда и без надежды покричал еще раз помощь.

В ответ поухал филин. Справочник пионера-туриста учил, что филин живет только в глухих, безлюдных местах.

Еще справочник учил определять путь по звездам, но звезд не было, а наоборот – стало накрапывать. Справочник учил, что мох на стволах деревьев растет с северной стороны. Это оказалось враньем, потому что мох на деревьях или не рос вообще, или распределялся вокруг ствола равномерно.

К рассвету Маркычев докурил сигареты, пнул в кусты свою корзину и, твердо зная, что солнечная сторона в квартирах – южная, идти днем на солнце, потому что Карелия севернее Ленинграда, а, значит, Ленинград южнее Карелии – сообразил как единственно верный в его положении марш-

рут.

К сожалению, день наступил пасмурный и солнце не светило ниоткуда, а навигационные способности Маркычева ограничивались тройкой в школе по географии, которую бессвязно преподавал горький пьяница-учитель, больше напиравший на новостройки социализма, да отрывочными сведениями из того туристского справочника, лживого, как вся пионерская идеология. Вооруженный такой теорией для путешествий, Маркычев уже совершенно не представлял, где он и куда ему податься. Больше всего он боялся нарваться на пограничников и получить срок за попытку нелегального перехода границы – их предупреждали, что запретная зона здесь недалеко.

Полдня он объедал лесной малинник, готовый задушить медведя-конкурента, если тот появится, голыми руками. На третий день съел сыроежку и о пограничниках стал уже мечтать. Мечтал о спасительном окрике: «Стой! Кто идет?», мечтал об автомате, упертом между лопаток, о допросе в теплом сухом помещении, об объедках с солдатской кухни, о решетке на окне и спокойном сне под крышей на чистых нарах.

Потом он стал мечтать о лагере. Страх перед пенитенциарной системой, по мере того как он дни и ночи волокся сквозь буреломы, изводясь от голода, страха, сырости, комаров, сменился горячим желанием сесть. Выявлялись очевидные преимущества: трехразовое питание, спальное помещение, одежда-обувь по сезону, восьмичасовой рабочий день

в обществе других людей, и досрочный выход на свободу с чистой совестью за примерное поведение. А может, еще и не посадят…

Он сбился со счета времени, часы стали от дождевой влаги, спички давно кончились, он ел ягоды и сыроежки и шел, шел, шел.

Велика страна моя родная!

Маркычев измерил этот размах собственными ногами, пока однажды не различил обостренным лесным слухом далекое тырканье трактора. Он вскинулся и почти побежал!

На маленьком поле чего-то пахал колхозный трактор!

– А-а-а! – закричал Маркычев и бросился к нему, приветственно маша руками. – Друг! Дорогой! Здорово! Ура!!!

Здоровый белявый тракторист в чистом комбинезоне посмотрел на него и сказал:

– Терве!

– Пожрать нет? – завопил Маркычев. – Заблудился я!

– Антекси? – спросил тракторист сквозь треск трактора.

«Слыхал я, – рассказывал Маркычев, – что в этой Карело-Финской АССР местный народ, но чтоб они уж вообще по-русски ни бельмеса…»

– Хавать! Шамать! Лопать! – приплясывал от нетерпения Маркычев, зарычал и заклацал оскаленными зубами, показывая, значит, чего он хочет.

Тракторист соскочил на землю и отошел на несколько шагов, похлопывая по огромной ладони монтировкой.

– Ленинград! – убеждал Маркычев. – Инженер! Русский! Кушать! Ам-ам!

– Русски, – повторил тракторист без особого энтузиазма. – Ам-ам… Онко синулля водка?

– Водка! Поставлю, не сомневайся! Ящик поставлю! – Маркычев изобразил руками, как ставит трактористу ящик водки, и как вкусно будет ее пить.

Тракторист, оказавшийся очень молчаливым парнем, привез его домой, и Маркычев поразился богатству и роскоши простого карело-финского колхозника: дом – терем, в терему полна чаша, телевизор японский и иномарка под окном. При виде еды рассудок его оставил.

Рассудок вернулся, когда наполнился желудок, и жена хозяина стала говорить английские слова, а телевизор стал показывать не наши программы, причем в цвете и со звуком, а наши вовсе не показывал. Тогда его оставило сознание. Маркычев знал, что у переживших бедствие бывают галлюцинации и миражи.

Он был в Финляндии.

И что ведь характерно: теперь ему тюрьма была обеспечена, так он, гадюка, совсем не радовался. Он твердо знал, что финны, славящиеся аккуратностью и законопослушанием, наших выдают обратно, а там поди объясни, что через границу ты попер случайно… Полиция, КГБ, показательный суд, Сибирь: прощай, жизнь…

Выходов было два: или добровольно сдаться властям, или

идти тем же путем домой. Был еще третий выход: вернуться в лес и удавиться на первом суку.

Финн полицию не вызвал. Напротив, достал карту и с помощью полуанглоговорящей жены сочувственно объяснил, что его папа воевал у маршала Маннергейма, а если Маркычев во-он здесь перейдет границу в Швецию, то там получит политическое убежище. Добрый оказался человек, но не понимающий чаяний души советского человека. Два мира – две системы…

Он дал Маркычеву эту карту и сухой паек на дорогу, довез на своей машине до шоссе, указал пальцем на Запад и ободряюще хлопнул по спине:

– Хюва маткаа!

Маркычев помахал ему вслед, слез с дороги в кусты, и вот так, кустами, пошел в Хельсинки – искать советское посольство… Явка с повинной и чистосердечное раскаяние должны были облегчить его вину.

«Да чтоб я еще в жизни по грибы… ни глотка! Отдыхать только в библиотеке!»

Умирая от голода и усталости, боясь полиции и не вступая ни в какие контакты с иностранцами, хромал он на встречу со своими: и вот я здесь, товарищи. Готов нести ответственность по закону и надеюсь на смягчение участи.

7. Шьем дело из материала заказчика

Консульство и его внешняя контрразведка ГБ известили свои начальства в Москве: вот такой чудак… просим проверить.

Москва: только Бога ради – никакой утечки информации в прессу! Покормите его пока, до дальнейших распоряжений, и присмотрите. И звонит в Ленинград: выясните, уточните, разберитесь. Что у вас там за бардак в пролетарских коллективах и на священной границе!..

С Литейного звонят в отдел кадров завода «Серп и молот»: как там у вас Маркычев? Такие звонки в кадрах понимают. Ах, говорят, Маркычев… Какой Маркычев – инженер? Да можно сказать, и не работает. Как? – да он в отпуске… С тридцатого июля… у него неделя, мол, с прошлого года оставалась, плюс отгулы… Когда выйдет? да должен в понедельник. Что, номер приказа? сейчас, одну минуточку… И тут же задним числом рисуют Маркычеву отпуск. А что такое? А ничего, отвечают зловеще, скоро узнаете.

И звонят директору. Отпуска, значит, даем на август государственным преступникам? Директор – старая гвардия, буквально слышно, как у него броневое забрало лязгает, опускаясь: какие отпуска, товарищ? каким преступникам? Ваш работник инженер Маркычев задержан за переход государственной границы в буржуазном государстве. Позвольте,

говорит директор. Маркычев мне не инженер. У нас такой не работает. Что значит, у нас есть сведения… Да, был. Но уволен. Когда, за что? Минуточку… вот: тридцатого июля. За халатность и неоднократные нарушения. А отдел кадров говорит!.. Наверное, напутали, нашли не тот приказ, у них там вечно… Так он не ваш? Не наш. Упаси Бог от таких работников.

А как его можете характеризовать? Крайне отрицательно. Политически неграмотен, морально неустойчив. Политику партии понимает неправильно. Хорошо; характеристику передайте в отдел режима. Директор – отделу кадров: поднимитесь ко мне забрать подписанный приказ… болтун – находка для шпиона! Мигом!!!

Но на Литейном сидят парни вдумчивые, они позвонили еще и в жэк. Есть такой жилец? Есть; а что? Какие на него сигналы, жалобы, нарушения? Да так… знаете… а что? Он задержан в Финляндии за нелегальный переход границы, ведется следствие, вот мы сейчас занимаемся его делом. А-а… он всегда был подозрительным, не наш человек – за квартиру платил неаккуратно, соседи жаловались, так что мы собираемся выписывать его за шум и дебоши. Так; ясно.

Ну – выпадает кому-то загранкомандировочка! Звонят в посольство: завтра, говорят, наш человек за ним приедет, заберет; вы пока караульте получше, он, судя по всему, враг матерый, антисоциальный элемент, явно сбежать хотел. Им отвечают: да вы что, он всю Финляндию пропер пехом, сам

к нам пришел, плакал и домой просился. А, теперь плачет, иуда – понял, что за границей не мед! А вот не пускать его обратно! – пусть там и живет в капиталистических джунглях, жрет свои грибы! Товарищи, нельзя же так, у нас гуманизм и милосердие… У вас милосердие, а у нас бдительность. Знаете, чем отличается абстрактный гуманизм от социалистического? Ага: девять граммов разницы. А он что… действительно сам пришел? И врач говорит – не сумасшедший? Видите – характерный прием двойного агента.

А погранзаставы рапортуют твердо и однозначно: никаких нарушений госграницы не зафиксировано, случайности исключены!

Короче, приезжает утром мордастый парнишечка в неброском костюмчике, кормят Маркычева напоследок завтраком, вгоняют в вену укол против любых желаний организма, грузят ко всему покорное тело в автобус, и парнишечка везет его на Родину, напевая «Летят перелетные птицы». А на границе – в машину и на Литейный.

Неделю его трясли. Как, да что, да где, да почему: всячески сбивали хитрыми вопросами и повторами. Но он твердо повторял историю своих злоключений и кричал, что лучше тюрьма, но своя, много ведь не дадут, правда? я ведь сам пришел! Что возьмешь с дурака?..

Главное – он никак не мог указать, где пересек границу. Знал бы где – так и не пересекал бы! Там ведь сигнализации напихано, препятствий наворочано – вот уж против ду-

рака все меры бессильны. Ставили следственный эксперимент: привозили на место того пикника – иди! Разводит руками – был пьян, простите. Верно – бутылок в кустах нашли до черта.

А если он пересек границу на самолете? А если надел коровьи копыта – обмануть следопытов? А если все грибники вот так, беспрепятственно, попрут через границу?! Влепили для профилактики начальнику погранрайона о неполном служебном соответствии, а больше поделать ничего нельзя.

Его бы, конечно, законопатили года на четыре. Нарушил? – нарушил. Получи и распишись. Но финский телевизионщик тот подгадил. Он снял не только приход Маркычева в посольство, он и отъезд подкараулил, и у консула интервью взял: вот, мол, какой стойкий и сознательный гражданин – испугался, что невольно нарушил финские законы и может быть наказан финскими властями и даже вызвать международный инцидент! Он голодать будет – ради сохранения дружественных государственных отношений с соседней страной. А посол, старый мидовский волк, подал случай в этом свете как акт большого уважения и залог добрососедства.

И в таком виде это прошло по финскому телевидению и, разумеется, прозвучало по Би-Би-Си. И теперь, в свете международной обстановки, сажать Маркычева было бы идеологически невыгодно. А лучше наоборот – отечески пожурить и милосердно позволить вернуться в ряды заблудшему, но

верному гражданину. Просвечен насквозь – советский мышонок…

И отпустили с Богом. Иди и не греши!

8. Вернулся в свой город, знакомый до слез

Когда я работал в отделе пропаганды одной газеты, над столом у меня висела репродукция картины Репина «Арест пропагандиста». Но есть у Репина и еще не менее знаменитая картина – «Не ждали».

С работы Маркычев был уволен. В отделе кадров ему вручили трудовую книжку со статьей. И известили, что теперь, с самоходом через границу, ни одно режимное предприятие его не возьмет. Да и не режимное не разбежится.

А также его выписали с жилплощади, и его комнату уже заняли многодетные соседи-очередники. То есть – он был выписан из Ленинграда.

Заодно его, для порядка, сняли и с воинского учета.

Что называется, Родина-мать раскрыла объятья, и в каждой руке у нее было по нокауту.

Маркычев был не в той весовой категории, чтоб тягаться с матерью-родиной. Но волну погнал страшную.

Он ночевал по знакомым и строчил жалобы во все инстанции – вплоть до комиссии по реабилитации репрессированных. Пришел со статьей в «Ленинградскую правду». Доставал начальство по домам и бесстрашно грозил карами. Он

известил горком партии о сожительстве директора со своей секретаршей. Сигнализировал в ОБХСС о воровстве на заводе. Скатил телегу в спортобщество «Трудовые резервы» о пьянках, устраиваемых спорторгом. Настучал прокурору города товарищу Караськову о взятках, вымогаемых в родном жэке. У него обнаружился стиль, и этим стилем он излагал всю подноготную недоброжелателей: что начальник отдела кадров в тридцать седьмом году пытал коммунистов, что начальник отдела купил свой диплом на толкучке в Ташкенте, и что профорг противоестественно развращает несовершеннолетних пэтэушников-практикантов; а парторг заявил в юбилей блокады, что Жуков хотел чуть ли не повесить товарища Жданова, который приказал минировать Ленинград и готовиться к сдаче. Нагадил всем как мог, а смог немелко, потому что за каждой бумагой следовала хоть какая-то, но нервотрепательская проверка.

Опасен и страшен советский человек, уперевшийся насмерть в борьбе за свои права. Отвел душу пострадавший инженер.

Парторг сказал, что сожалеет в своей жизни только об одном: что не может ходатайствовать перед органами о применении к врагу народа высшей меры. А спорторг сказал, что вызвался бы лично привести ее в исполнение.

А инженер Маркычев, землепроходец-камикадзе, сдав заказным последнее письмо, снял деньги со сберкнижки и гульнул с двумя одноклассниками в ресторане «Нева». Он

слал пятерки в оркестр и велел играть «Летят перелетные птицы» и «Артиллеристы, Сталин дал приказ!».

Они еще узнают, кто лучше ориентируется в пространстве, пообещал он.

9. Ку-ку!

А через неделю он сдунул.

С концами.

Через эту самую границу.

С рюкзаком, с едой, со всеми приготовленными ценностями, с картой, компасом и валютой. Отъелся, значит, подправился и сдунул. Там сел в автобус и укатил быстро в Швецию, которая не выдает.

Причем зашел ведь еще к тому финну, к фермеру, и честно поставил ему литр водки.

Это он просто, паразит, маршрут проверял. Репетицию провел, так сказать. Вот обстоятельный человек.

Оружейник Тарасюк

1. Загробный страж

Биологическая селекция членов Политбюро была окутана большей тайной, чем создание философского камня; хотя несоизмерима с ним ни по государственной важности, ни по

расходам. Когда хозяин Ленинграда и секретарь обкома товарищ Романов выдавал замуж свою дочь, так Луи XV должен был зашататься на том свете от зависти. Пир был дан в Таврическом дворце, среди гобеленов и мраморов российских императоров, и через охрану секретных агентов не проскочила бы и муха. Кушать ананасы и рябчиков предполагалось с золота и фарфора царских сервизов. Вот для последней цели и было велено взять из запасников Эрмитажа парадный сервиз на сто сорок четыре персоны, унаследованный в народную сокровищницу от императрицы Екатерины Великой.

Последовал звонок из Смольного: сервиз упаковать и доставить. Хранительница отдела царской посуды, нищая искусствоведческая крыска на ста сорока рублях, дрожащим голосом отвечала, что ей требуется разрешение директора Эрмитажа академика Пиотровского. Потом она рыдала, мусоля сигаретку «Шипка»: севрский шедевр, восемнадцатый век!.. перебьют! вандалы! и так все распродали…

Академик известил, обмирая от храбрости: «Только через мой труп». Ему разъяснили, что невелико и препятствие.

Пиотровский дозвонился лично до Романова «по государственной важности вопросу». Запросил письменное распоряжение министра культуры СССР. Но товарищ Романов недаром прошел большой руководящий путь от сперматозоида до члена Политбюро и обращаться со своим народом умел. «Это ты мне предлагаешь у Петьки Демичева разре-

шения спрашивать? – весело изумился он. – А хочешь, через пять минут тебя попросит из кабинета на улицу новый директор Эрмитажа?»

Пиотровский был кристальной души и большим ученым, но тоже советским человеком, поэтому он, не кладя телефонную трубку, вызвал «скорую» и уехал лежать в больнице.

За этими организационными хлопотами конец дня перешел в начало ночи, пока машина из Смольного прибыла, наконец, к Эрмитажу. И несколько крепких ребят в серых костюмах, сопровождаемые заместителем директора и заплаканной хранительницей, пошли по гулким пустым анфиладам за тарелками для номенклатурной трапезы.

Шагают они, в слабом ночном освещении, этими величественными лабиринтами, и вдруг – уже на подходе – слышат: ту-дух, ту-дух… тяжкие железные шаги по каменным плитам.

Мерный, загробный звук.

Они как раз проходят хранилище средневекового оружия. Секиры и копья со стен щетинятся, и две шеренги рыцарей в доспехах проход сторожат.

Ту-дух, ту-дух!

И в дверях, заступая путь, возникает такой рыцарь.

В черном нюрнбергском панцире. Забрало шлема опущено. В боевой рукавице воздет иссиня-зеркальный меч толедской работы. И щит с гербом отблескивает серебряной чеканкой.

И неверной походкой мертвеца, грохоча стальными башмаками и позванивая звездчатыми шпорами, движется на них. И в полуночной тишине они различают далекий, жуткий собачий скулеж.

Процессия, дух оледенел, пятится на осевших ногах.

А потревоженный рыцарь бешено рычит из-под забрала и хрипит гортанной германской бранью. Со свистом описывает мечом сверкнувшую дугу – ту-дух! ту-дух!.. – наступает все ближе…

Задним ходом отодвигаются осквернители, и кто-то уже описался.

2. Партизан

В сорок втором году Толику Тарасюку было десять лет. Отец его сгинул на фронте, а мать погибла в заложниках. Мальчонка прибился к партизанскому отряду. В белорусских лесах было много таких отрядов: треть бойцов, а остальные – семьи из сожженных деревень.

Мальчишки любят воевать. А солдаты, любя их, ценят их отчаянную лихость. Этот же, маленький и тихий, был просто прирожденным бойцом: рука тверже упора, и глаз как по линейке. И полное отсутствие нервов. Из винтовки за сто метров пулей гвозди забивал.

Использовали иногда пацанов для связи и разведки. Но талант Тарасюка котировался выше. И ему нашли особое ме-

сто в боевом расписании.

Сейчас плохо представляют себе жестокости той войны. Если немцы расстреливали, вешали и сжигали в домах, то партизаны захваченных пленных, например, обливали на морозе водой и ставили ледяные фигуры с протянутой рукой в качестве указателей на дорогах, а в рот всовывались отрезанные части, и табличка на груди поясняла: «Фриц любит яйца».

Основным партизанским занятием было грабить склады: продовольствие, амуниция, оружие – сочетание самоснабжения с уроном врагу. Еще полагалось взрывать железные дороги и мосты. Все это охранялось. А приступить к делу возможно только без шума. Поэтому умение снимать часовых особенно ценилось.

Полосы отчуждения перед немецкими объектами были наголо очищены от леса, и подобраться незаметно практически исключалось. А близко часовые не подпускали никого ни под каким предлогом.

И вот брел откуда-то маленький плачущий мальчишка, кутаясь от холода в большой не по росту ватник. Завидев часового, он жалобно просил: «Брот, камарад, брот!..» и показывал золотые карманные часы – отдает, значит, за кусок хлеба. Часовому делалось жалко замерзшего голодного ребенка… и, похоже, часы были дорогие. Он оглядывался, чтоб не было начальства, подпускал мальчика подойти, и брал часы рассмотреть. Мальчик, качаясь от слабости, на

миг прислонялся к нему и через карман ватника стрелял в упор из маленького дамского браунинга.

Приглушенный одеждой хлопок был почти неслышен. Пистолетик был маломощной игрушкой. Крохотную никелированную пульку требовалось загнать точно в центр солнечного сплетения. Поднимать руку до сердца – долго и мешкотно, немец мог успеть среагировать.

Часовой оседал, убитый наповал. Надо было придержать его каску и автомат, чтоб не брякнул металл при падении.

И этот десятилетний (через год войны – уже одиннадцатилетний) мальчик снял таким образом двадцать восемь часовых. Не у всякого орденоносца-снайпера на передовой был такой счет.

Лишь раз рука его дрогнула. Немец был немолодой, очкастый, из тыловых охранных частей. Не снимая правой руки с ремня карабина за плечом, левой он отвел часы и вытащил из кармана шинели завернутый в вощаную бумажку кусок шоколада. На левой руке не было мизинца. Мальчик невольно задержал взгляд на этой беспалой руке с шоколадом, и выстрел, кажется, пришелся не совсем точно. Глаза немца, вместо того чтобы сделаться неживыми, закрылись, он сложился и упал. Но лежал без движения, а партизаны из укрытия уже подбегали беззвучно, и сознаться в своем сомнении, править контрольным выстрелом мальчишке было стыдно, мешало бойцовское самолюбие профессионала: нечистая работа.

В сорок четвертом – Десять Сталинских Ударов! – Советская Армия освободила Белоруссию; при расформировании отряда командир представил его к ордену Красного Знамени. Но наверху сочли, что это – жирно пацану будет, и ограничились медалью «За Боевые Заслуги».

С этой медалью он пришел в детский дом, чтобы после трехлетнего перерыва пойти в школу, в третий класс.

3. Курсант

Он навсегда привык чувствовать себя совершенно раскованно в любой аудитории – равный среди первых, партизан, а не тыловая крыса. Учиться хуже кого бы то ни было не позволяла гордость, детский мозг наверстывал упущенное: после семилетки он окончил десять классов.

Военрук же в нем просто души не чаял и прочил в отличники военного училища: прямая дорога!

Он ступил на прямую дорогу – пробыл в военном училище неделю, нюхнул казармы, побегал в кирзачах на зарядку, собрал свой чемоданчик и известил начальство, что эта бодяга – не для него. Воевать – это да, с радостью, пострелять – всегда пожалуйста. А уставы пусть зубрят и строем в сортир маршируют те, кто пороха не нюхал. Ему не нравится.

– А что тебе нравится? – спросил бравый полковник, с сожалением листая его личное дело.

– Стрелять, – откровенно сказал Тарасюк.

– В кого ж ты нацелился сейчас, в мирное время, стрелять?

– Ну… нашлось бы. Мне вообще оружие нравится.

– Так может, тебе надо учиться на инженера и идти работать на оружейный завод? Так, что ли?

– Оно мне нравится не в смысле быть оружейным мастером… еще не хватало! я бойцом был, а не ремонтником. Вообще нравится… дело с ним иметь.

– И как же ты хочешь иметь с ним дело?

– Вы стрелять умеете?

Задетый фронтовик-полковник повел зарвавшегося молокососа в тир, довольный случаю. И там из своего вальтера в генеральском хромированном исполнении (трофейные пистолеты у офицеров еще не изъяли) исправно выбил 29.

– Хорошие у немцев машинки, – заметил воспитуемый курсант. – Но для дела я предпочитал чешскую «Шкоду» – в руке удобнее, и скорость у него выше: через пряжку ремня навылет бил! Пуля стекло проходит – даже трещинок нет, ровная такая дырочка. – Он принял поданный рукоятью вперед, по правилам хорошего тона, вальтер, и оставшиеся в обойме пять пуль посадил одна в другую.

– Ну ты бля ничо – сказал полковник.

– У американского кольта-32 скорость самая высокая, – продолжал Тарасюк. – Что входное отверстие, что выходное. Через бумагу стреляешь – лист не шелохнется, кружочек как вырезан. Хотя король точности и боя, конечно, маузер, но

ствoлина такая, и магазин, – громоздок слишком.

– Подкованный курсант, – признал полковник. – Все, или еще что имеешь доложить?

Поощренный Тарасюк вольно расстегнул воротничок гимнастерки.

– Вот это, к примеру, не нож, – охотно вел он лекцию, ткнув пальцем в штык-нож, болтающийся на поясе сержанта-дежурного.

– Разрешите обратиться, товарищ полковник? – сказал сержант. – Дайте мне молодого для уборки помещения – к подъему верну как шелкового! умный…

– Сталь у штыка отпущенная, мягкая – чтоб в теле не сломался; поэтому лезвие жала не держит, резать им невозможно, – убыстрил речь Тарасюк. – Рукоятка неудобная и в руке скользкая, а в работе кровь попадет – будто вообще как намыленная. И не уравновешен нисколько, кидать его вообще без толку.

– В советники Генштаба аттестовать тебя не уполномочен, – сказал полковник. – Ты б им, конечно, объяснил, каким должен быть нож.

– Чего объяснять – такой, как у финнов. Клинок треугольного сечения, закаленный, согнется – не сломается: закал только поверху, а внутри мягкое. Ручка деревянная, с насечкой – легкая, и в полете как стабилизатор. Лезвие – шесть пальцев, а больше никому и не надо.

– А штык? – презрительно опустился до вопроса сержант.

– Штык старый был хорош – четырехгранник: входит легко, в теле не сломается, рана от него не закрывается, и доставать в фехтовании длинным легче.

– Тебя прям в университет надо, – съязвил сержант.

– А что, есть такой университет, где по оружию учат? – простодушно спросил Тарасюк.

Мысль о возможности отсутствия такого университета полковника возмутила.

– Главное в государстве – что? – наставительно сказал он: – армия! Главное для военного – что? – оружие. Как же в нашей стране может не быть такого университета?!

4. Абитуриент

И первого сентября 1952 года Тарасюк приехал на исторический факультет Ленинградского университета.

В руке у него был тот же маленький «футбольный» чемоданчик. В чемоданчике лежали: чистая рубашка, бутылка коньяка, медаль «За Боевые Заслуги», парабеллум и книга В. Бейдера «Средневековое холодное оружие». Полный джентльменский набор.

Он проследовал в деканат, где задал сакраментальный вопрос:

– Это правда, что у вас по оружию учат?

– В университете многому учат, – с туманным достоинством ответили ему. – Но приемные экзамены давно окон-

чены.

– А может, мне к вам еще не надо поступать, – успокоил посетитель. – Так учат? Или нет?

– А вас что, собственно, интересует?

– Меня, собственно, оружие, – терпеливо повторил он.

– И какое же именно оружие? – вежливо поинтересовался замдекана по студентам.

– Именно – всякое. Огнестрельное, холодное… легкое, тяжелое, осадное, современное, средневековое, античное тоже, в общем.

– М-угу. Так современное, или античное? Есть, знаете, разница… особенно в применении. У вас, позвольте полюбопытствовать, чисто научный интерес к оружию, или есть и иной? – с корректностью петербургского интеллигента уточнил замдекана.

– Научно-практический, – сказал Тарасюк. – А разницы иногда никакой нет. Фракийский меч начала нашей эры, скажем, ничем не отличается от артиллерийского тесака восемнадцатого века. А средневековый рыцарский кинжал для панцирных поединков – от современного испанского стилета.

– М-угу, – невозмутимо сказал замдекана. – У нас при кафедре медиевистики действительно есть семинар истории холодного оружия. Приходите через год, первого августа, и сдавайте экзамены.

– А зачем тянуть, – возразил посетитель. Он раскрыл свой

чемоданчик и предъявил аттестат за десятилетку, выписку с оценками приемных экзаменов в училище и справку об участии в партизанском движении. Сверху положил медаль, а сбоку поставил бутылку коньяка.

– М-угу, – развеселился замдекана. – Как это поется? – «собирались в поход партизаны»… У вас там автомата нет с собой?

– Только парабеллум, – сказал Тарасюк.

С этими документами он был без звука зачислен на первый курс, вселен в Шестое общежитие на Мытнинской набережной и обеспечен стипендией.

5. Студент

Семинары начинаются на третьем курсе. Первокурсник Тарасюк пришел на первое же занятие вольнослушателем. На втором занятии он сделал научное открытие. Акинак – меч древних скифов – был не колющим оружием, как утверждала дотоле историческая наука, но рубяще-колющим.

Прежняя точка зрения основывалась на античной росписи по вазе, где один скиф собирается заколоть акинаком другого. Из чего явствует, что историческая наука и относительно древних времен не всегда затрудняет себя поиском весомых аргументов.

– Это какой же идиот сказал, что он только колющий? – с презрением бывалого партизана вопросил Тарасюк.

Руководитель семинара, интеллигентная дама из университетской профессуры, была шокирована.

– Э-э… – прерывистым тенорком сказала она. – Если мы посмотрим на рисунок, то совершенно ясно видно…

– Что видно? Колоть можно и шашкой! Эдак вы и ложку, которой вас щелкнут по лбу, объявите тупым холодным оружием ударного действия, – прервал непочтительный слушатель.

– На археологических находках нет следов каких-либо режущих кромок, – защищалась дама.

– Две тысячи лет в земле? ржа, ржа съела!! Это ж какое качество стали, что за две тыщи лет в земле вообще порошком не рассыпалась! Она ведь и острие тоже съела… так может он вообще был безопасный?

– Есть труды специалистов…

– Ваши специалисты хоть барана когда-нибудь резали сами?

– А вы, простите?

– Я всех резал. Так скажите: какой дурак будет таскать полуметровый клинок в ладонь шириной, и не заточит лезвие, чтобы рубить и резать? Ленивый, или мозги отсохли? Так это не боец! А акинак не короче римского меча. А чтобы только колоть, придумали узкую легкую рапиру.

Из чего видно, что со всем пылом молодости и превосходством боевого опыта Тарасюк вгрызся в учебники. И результаты, так или иначе, но впечатлили окружающих.

– Если вы хотите посещать наш семинар…

– Да я для этого училище бросил!

– Возможно и зря. Так вот: когда вы сами станете профессором…

– А сколько для этого нужно лет? – перебил Тарасюк.

– Три года аспирантуры – если вы окончите университет, в чем я не уверена, и если поступите в аспирантуру, в чем я уверена еще менее…

– Не сомневайтесь, – заверил он. – А дальше?

– А дальше – докторская диссертация иногда отнимает и десять, и больше лет работы. И ее еще надо защитить!..

– От кого?

– От оппонентов.

– Не страшнее немцев. А это кто?

…Акинак стал его первой работой в Студенческом научном обществе. При этом «интеллектуалом» он не был, и никогда им не стал; правда, и не пытался себя за такового выдавать. Уровень его эстетических притязаний был примерно таков: когда в компании, скажем, обсуждался новый фильм, Тарасюк выносил оценку специалиста:

– Чушь свинячья. По нему садят с десятка стволов, он речку переплыл – а! о! спасен! – ха! да я его за четыреста метров из винта чиркну – только так!

Его любовь к оружию не удовлетворялась теорией – он стрелял. Стрелял в университетском тире из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и спортивного ре-

вольвера – больше, к сожалению, ничего не было. И когда вместо десятки клал девятку, у него портилось настроение.

Но посулы тренеров насчет соревнований отвергал: ученый не унизится до игр с безмозглыми спортсменами, на фиг ему надо.

6. Дипломант

Темой его диплома был двуручный меч с «пламенеющим» клинком.

У такого меча почти весь клинок – кроме конечных одного-полутора футов – зигзагообразный. Ученые доперли до очевидного: удар наносится только концом, где нормальное лезвие. Что ж касается метрового синусоидовидного отрезка – это, мол, в подражание картинам, изображающим архангелов с огненными мечами: волнистый язык пламени. И диссертации писали: «Влияние христианской религиозной живописи на вооружение рыцарей-крестоносцев».

Непочтительный Тарасюк не оставил от ученых мужей камня на камне. Оружие всегда предельно функционально! – ярился он. Оно украшается – да, но изменение формы в угоду идеологии – это бред! (Шел свободомысленный 57 год.) Парадное оружие, церемониальное – да, бывают просто побрякушки. Но боевой меч – тут не до жиру, быть бы живу, уцелеть и победить надо, какая живопись к черту.

Изобретатель этого меча был гений, восторгался Тарасюк.

После Первого крестового похода он задумал совместить мощь большого меча с режущим эффектом гнутой арабской сабли: рубить с потягом лучше гнутым клинком, тянешь к себе – и изгиб сам режет, принцип пилы. Но сабля стальной доспех не возьмет, а гнутый двуручный меч требует трехметрового роста, каковым не обладали даже лучшие из рыцарей: поэтому изгибов-дуг несколько – это меч-сабля-пила! Парируемый клинок врага легче задерживается в углублении изгиба и не скользит до гарды – улучшаются защитные качества, легче перейти к собственному поражающему выпаду. Зигзагообразность придает мечу пружинность в продольной оси – чем смягчается при парировании удар по рукам, облегчается защита в фехтовании. Наконец, та же пружинность сообщает удару концом клинка дополнительную силу: так удар кистеня, сделанного из свинцового шара на гибкой рукояти из китового уса, сильнее удара молотка того же веса и той же длины жесткой деревянной рукояти.

Кафедра и оппоненты, улыбаясь темпераменту, пожимали плечами. И были неправы в недооценке дипломанта. Закончив теоретическую часть защиты, вспотевший Тарасюк перешел к демонстрационной: кивнул в аудиторию первокурснику у дверей:

– Костя – давай!

Костя исчез и через минуту дал, вернувшись с другим первокурсником. Торжественно, как королевские герольды сокровище двора, они несли полутораметровый двуручный

меч с пламенеющим клинком.

Улыбки комиссии сделались неуверенными. У Тарасюка загорелись глаза. Он взял меч и сделал выпад. Дипломную комиссию снесло со стульев. Аудитория взвыла от счастья.

Подручные-первокурсники извлекли из портфеля железный прут и положили концами меж двух стульев. Тарасюк, крутнув из-за головы (дррень! – дверца книжного шкафа) взмахнул зловеще свистнувшим мечом и перерубил прут, вогнав острие клинка в пол.

– Браво… – сказала дипломная комиссия, осторожно возвращаясь на свои места.

– Бис! – добавили зрители, подпрыгивая в дверях.

– Теперь возьмем меч с обычным клинком, – сказал Тарасюк.

– Спасибо, – возразил председатель комиссии, легендарный декан Мавродин, – достаточно. Вы согласны со мной, коллеги? Трудно не признать, что глубокоуважаемый дипломант избрал весьма, э-э, убедительную форму защиты своих научных взглядов… да. Налицо владение предметом исследования.

Совещаясь об оценке, факультетские дамы трепыхались и пудрились, пылая местью. Мавродин с солдатской грубоватостью отрезал, что им, гагарам, недоступно наслажденье счастьем битвы, гром ударов их пугает! А за знания и любовь к науке студенту прощается все!

Тарасюка оставили на кафедре в аспирантуре.

7. Профессор

В тридцать он стал доктором, в тридцать два – профессором.

И, став профессором, согласно древней академической традиции немедленно женился на своей первокурснице. Переехал из аспирантского общежития в академический кооператив и зажил семейной жизнью.

По прошествии медового месяца жизнь оказалась не ах. Больше всего в семейной жизни Тарасюку нравилась теща. Теща замечательно умела готовить грибной суп и штопать носки. И была благодарной слушательницей.

Что касается жены, то миловидность ее стала привычной, а бестолковость открывалась все глубже. Она ничего не понимала в оружии. Вообще Тарасюк ее мало видел. Время он делил между библиотекой и оружейными запасниками. Он писал монографию по технике итальянской школы фехтования XVI века. Тарасюк вознамерился доказать миру, что итальянцы первые прибегли к легким и гибким клинкам, рассчитанным на полное отсутствие лат, – прообразу современного спортивного оружия, – что позволило резко увеличить частоту движений и изощрить приемы до утонченности и сантиметров.

Он показывал жене, как и куда надо колоть, чтобы вывести противника из строя. Ночью жена кричала от кошмаров.

Через год жена прорыдала, что больше с ним жить не может, он был трагедией ее молодости. Тарасюку было некогда – он вычитывал гранки своей монографии и готовил тезисы доклада в Институте истории.

Теща ему сочувствовала. Теща сказала жене, что та – редкостная дура: он непьющий, добрый, безвредный, авторитетный чудак-ученый. Она приглашала Тарасюка в гости – кормить домашними обедами. Они сдружились: ей было одиноко, и она часами вязала, охотно кивая бесконечным рассказам о дагах и арбалетах. Кроме того, она была безденежна, а у него деньги вылетали веером. Не в силах смириться, что профессорский заработок весь уходит на книги и железяки, она стала покупать ему одежду и отсчитывать деньги на продукты. И как-то постепенно он переселился к ней, оставив квартиру бывшей жене: ко всеобщему удовлетворению. Огородил себе уголок книжными шкафами, поставил там диванчик и стол с настольной лампой, и стал жить.

– Горячие обеды, чистое белье, тишина и никаких претензий – что еще надо ученому? – говорил он, катая в кармане свинцовый снаряд от балеарской пращи.

8. Слава

В сорок лет Тарасюк стал крупнейшим в мире специалистом по истории холодного оружия. Он состоял в переписке с оружейными музеями всех стран, и выступал экспертом,

консультантом, рецензентом и прочее по всем возможным оружейным запросам. (Причем порой это прекрасно оплачивалось, но все валютные гонорары по закону забирало государство.) Ссылки на Тарасюка сделались обязательны в трудах ученых-оружейников. Авторитет его стал непререкаем: последним доводом в научных дискуссиях все чаще становилось: «Тарасюк сказал!» Почтовый ящик был набит приглашениями на международные симпозиумы – от Стокгольма до Сиднея.

За бугор его, однако, не выпускали: беспартийный, разведен, был на оккупированной территории, и по чудаковатости может отмочить неизвестно что: бесспорно невыездной.

Темным вечером скучающие хулиганы показали ему нож: Тарасюк мельком взглянул на нож и час не давал им вставить слово, читая лекцию о ножах. Прибалдевшие хулиганы проводили пахана до подъезда, где получили на память, как любители холодного оружия, лишний экземпляр испанской навахи.

Противоположная сторона, то есть милиция, также прибегала к его безмерной эрудиции:

– Анатолий Карпович, как это могло быть сделано? – В броневой дверце сейфа чернела аккуратная четырехугольная дырочка.

– Прекрасная работа! – восклицал Тарасюк, любуясь разгромленным сейфом. – Это чекан, только чекан. Какая чистота пробоя! – с удовольствием говорил он. – Медленный

закал стали, пятидюймовый клюв, двухфутовая рукоять. Чудесное оружие! им лучшие шлемы пробивали, ни один доспех не держал. С чеканом даже секира не сравнится, тут вся кинетическая энергия удара сконцентрирована в одной точке – а тело весом в два английских фунта у боевого чекана: бронебойный снаряд! Правда, у бердыша рукоять вчетверо длинней, но его парировать легче, принять древко на клинок, и в свалке не развернешься…

– Спасибо, – прерывали восторженный поток, – а уточнить нельзя – какой, как?..

– Отчего же… Посмотрим… а изнутри? ого! Судя по сечению, это начало XV века. Конец эпохи тяжелой латной конницы. Немецкие крестьяне времен протестантских войн его очень любили. Они ведь там, знаете, за сто лет войн три четверти Германии истребили, вот так! Регенсбургские чеканы были особенно хороши, только там настоящим секретом закала владели… Да, точно: русский клевец был покороче… а испанцы это оружие не уважали, считали нерыцарственным, низким… а французской работы это не прошиб бы, пожалуй, нет… у них послабее металл был, не умели, вся французская знать носила завозное оружие – Испания, Италия, Германия… Англия отчасти…

– Хорошо, хорошо! А скажите: ведь с чудовищной силой надо такой удар нанести? должен быть очень сильный человек, верно?

– Глупости. Сила нужна слону. Оружие требует только

умения. У вас есть время? И машина тоже есть? Тогда сами увидите.

Он привозил чекан из запасников и предвкушая, щуря глаз, водил по клюву алмазным напильником. Принимал позу:

– Удар идет снизу – пяточка! на пяточке всю массу тела довернуть. Скрутка коленей… скрутка бедер… торс! Плечи… локоть… кисть, кисть! Выдох – э-э-э: гэть!!!

Худенький Тарасюк вздрыгивался – чекан сверкал широкой дугой и всаживался в стальную дверцу по рукоять.

– Вот и все! А выстрели-ка из вашего макарова – хрен пробьешь.

Если снимался исторический фильм со сражениями – без Тарасюка не обходилось. Он немедленно брал управление съемочной площадкой, задалбывал группу лекциями, похеривал режиссерский замысел, лично чертил, кому где стоять и куда двигаться, наконец хватал шпагу и вгонял в ужас несчастного актера.

– Снимай! мотор! – вопил в азарте Тарасюк. – Трус! растяпа! ты за шпагу держишься, а не за бабью сиську! Квинга! терция! парад!!! – и делал выпад, едва не протыкая беднягу насквозь.

Актеры его ненавидели, но прочий Ленфильм обожал.

– Опоздали вы родиться, профессор. – Режиссер с ассистентами еле отбирали оружие у увлеченного консультанта.

– Не сказал бы, – с обидой возражал тот. – Как раз ваш

лицедей стал бы у меня сейчас двадцать девятым.

И уезжал к теще кушать грибной суп и рассказывать о преимуществах большой шпаги перед рапирой.

9. Киногерой

Он стал уже легендой, и кино решили снимать о нем самом. Из Рима прилетела группа кинодокументалистов, чтоб все зрители узнали о великом ученом-оружейнике всех времен и народов. Они запечатлели профессора Тарасюка, читающего лекцию студентам, профессора Тарасюка, делающего открытие в запасниках музея, профессора Тарасюка, постигающего груды фолиантов в Библиотеке Академии Наук, и профессора Тарасюка, размышляющего на фоне невских волн. Остался профессор Тарасюк у себя дома.

Профессор Тарасюк сказал, что дома не надо. Но итальянцы вообще темпераментны и напористы, а если им приспичит, то это просто мафиози. Они загалдели, замахали руками и повезли его к нему же домой.

Профессор Тарасюк кряхтел. Жил он со старушкой-тещей в одной комнате, в коммуналке. Увидев эту квартиру, итальянские киногении пришли не столько в ужас, сколько в недоумение. Они допытывались, а где же у профессора рабочий кабинет, и, не говоря о столовой, но где же спальня?..

Им набулькали водки, разогрели грибного супа, и напряженная визитом иностранцев теща разъяснила, что профес-

сор – большой чудак (У меня маленькая слабость: боязнь больших пространств, – застенчиво оклеветал Тарасюк свою неколебимо здоровую психику): он мог бы купить особняк, но ни за что не хочет выезжать из этой комнаты – привык к виду из окна, ему здесь хорошо работается.

– Наш зритель этого не поймет, – задумчиво решили итальянцы. – Буржуазная пропаганда внушает, что советские люди нищие, и мы должны показать счастливого ученого в расцвете советской науки. – Это были прогрессивные итальянцы.

Это были настоящие киношники, и в кино у профессора Тарасюка получилась просторная многокомнатная квартира. Тарасюк за письменным столом – это был кабинет, за обеденным столом – это была столовая, на фоне книг – это была библиотека, у стены с оружием – домашний музей, и Тарасюк, сидящий в кресле, в тещином халате и с рюмкой в руке, рядом с расстеленным диваном, – это была спальня. В коридоре с гантелями Тарасюк изображал спортзал. Из кухни выгнали соседей, теща надела выходное платье и взяла поварешку: это была старенькая мама заботливого сына Тарасюка. Италия – католическая страна, там плохо относятся к разводам, это зрителю не понравится; зато хорошо относятся к матерям, это зрителю понравится.

На закуску они сняли профессора Тарасюка с партизанской медалью, и хором сказали, что такого героя среди ученых они вообще не видели, он – феномен и живая легенда.

Правда, Тур Хейердал тоже был парашютист и диверсант, но, кажется, никого так и не убил, хотя был уже совершеннолетним, – а бедному сироте Тарасюку было десять лет: мамма миа! порка мадонна! с ума сойти! двадцать восемь фашистов! он убил их за один раз, или за несколько? Это были те самые двадцать восемь панфиловцев, да? они читали об этом бессмертном подвиге! Почему Тарасюк не Герой Советского Союза?

– Я был еще несовершеннолетним, – виновато сказал Тарасюк.

– А ваши герои-пионеры?.. – спросили образованные итальянцы.

– Только посмертно, – сказал Тарасюк. – Мне предлагали, но я отказался.

10. Рыцарь печального образа

Заговорили об его последней книге по ритуалам и традициям рыцарских турниров. Этот труд должен был перевернуть мировую науку о рыцарстве. Тарасюк не страдал мелкостью замыслов.

И он поволок крепко подпивших итальяшек в Эрмитаж, в самые богатые в мире запасники рыцарского вооружения. Выбрал эффектный доспех по росту, под его управлением итальянцы облачили его в латы, застегнули застежки, затянули ремешки и сняли дивные кадры: рыцарь повествует о

поединках, подняв забрало и опершись рукой в железной рукавице на огромный меч.

Они таки изрядно все нажрались, и Тарасюк их утомил беспрерывным ускоренным курсом истории оружия, – они хотели успеть в итальянское консульство на прием. А он не хотел вылезать из доспеха – ему в нем страшно нравилось. Короче, они свалили, а он остался один. Вранье, что в турнирном доспехе нельзя ходить пешком – сочленения очень подвижны, а веса в нем килограммов тридцать-тридцать пять: сталь нетолстая, просто исключительной прочности. У нынешнего пехотинца полная выкладка тяжелей на марше.

Тут и произошла незабываемая встреча, с которой началась наша история.

…Дальнейшие события разворачивались печально. В половине двенадцатого в Эрмитаже начинает дежурить ночная охрана. Ночная охрана – это сторожевые собаки. Обученные овчарки контролируют пустые помещения. Зарабатывала овчарка – шесть ночей в неделю с полдвенадцатого до шести утра – шестьдесят рублей в месяц. Владелец трех собак жил на их зарплату.

Собак как-то не предупредили о проблеме с сервизом. С лаем и воем, скользя юзом на поворотах, они влетели в запасник.

Ребята из Смольного обрели дар речи и завопили о спа-

сении. Хранительнице было легче – она свалилась, наконец, в обморок.

Бронированный же рыцарь Тарасюк издал боевой клич и взмахнул мечом. Но дело в том, что конный рыцарь надежно прикрыт во всех местах, кроме задницы. Задом он сидит на специальном, приподнятом, боевом седле. А немецкая овчарка двадцатого века в рукопашной несравненно подвижнее немецкого рыцаря пятнадцатого века. И Тарасюк был мгновенно хвачен зубами за беззащитный зад.

Заорав от боли, он быстро сел на пол, бросил тяжелый меч, и укрытыми стальной чешуей кулаками пытался сидя треснуть проклятых тварей!

Вот такую композицию и застала охрана и милиционеры. Взволнованные милиционеры защелкали затворами пистолетов, охрана взяла собак на поводки, и вот тогда ребята из Смольного взревели во всю мощь своего справедливого негодования: сотрудников обкома мечом пугать! посланцев партии травить собаками! суши сухари, суки, Романов вам покажет!

Действительно: еще только латные рыцари не устраивали антисоветских восстаний.

…Тарасюка мгновенно и с треском выперли отовсюду.

Над вспотевшей головой, с которой сняли шлем с истлевшим плюмажем, засиял нимб мученика-диссидента: с мечом в руках он охранял достояние науки и народа от самодурства Смольного!

Легенда обрела завершение и вышла на улицы.

11. Встреча в ауте

Его не брали на работу никуда: ни в один институт, даже библиотекарем в районную библиотеку, даже учителем истории в восьмилетнюю школу. Теща плакала и кормила его грибным супом, и пенсионерский кусок застревал у совестливого Тарасюка в горле.

Через два месяца он устроился грузчиком на овощебазу, скрыв свои ученые степени и заслуги. Таскал ящики с картошкой и пил с мужиками портвейн на двоих.

Его дипломников и аспирантов раскидали по другим руководителям, и они боялись даже позвонить ему: шел семьдесят пятый год, и лояльные граждане опасались сказать лишнее слово…

Тарасюк озлился. С самого своего партизанского детства он был исключительно советским человеком, и все окружающее ему очень нравилось – что естественно при удачной карьере в любимом деле. Но непосредственное общение с пролетариатом благотворно влияет на интеллигентские мозги. За сезон на овощебазе он дошел до товарной спелости мировоззрения, как сахарная свекла до самогонного аппарата: еще немного – и готов продукт, вышибающий искры и слезы из глаз. А главное, без оружия он был не человек.

Он стал читать газеты и слушать вражьи голоса. И писать

в редакции и инстанции письма о правде и справедливости. Письма отличались научным стилем и партизанскими пожеланиями. И в его собственный почтовый ящик перестали приходить письма и приглашения из-за границы.

Тут приезжает на очередную говорильню оружейников немец из Франкфурта, коллега-профессор, и хочет видеть своего знаменитого друга по переписке профессора Тарасюка: что с ним, где он, почему не отвечает на письма? Все мычат и отводят глаза.

Педантичный немец получает в Ленсправке адрес и телефон, звонит Тарасюку и едет в гости. Герр Тарасюк, говорит, какая жалость, что вы не присутствовали. А у герра Тарасюка руки в мозолях и царапинах и перегар изо рта. И, отчаянно поливая советскую власть, он гостеприимно предлагает: не угодно ли выпить водки под грибной суп, дивное сочетание, рекомендую.

Они обедают, и Тарасюк замечает, что на левой руке у немца нет мизинца. Он бестактно наводит разговор на войну. А немец старенький, в очочках, и, подобно многим из его поколения, страдает комплексом вины перед Россией за ту войну. Он ежится и предлагает тост за мир между народами: он любит Россию, хоть его здесь чуть не убили.

Короче, ясно: это оказывается тот самый немец! Недостреленный.

Тут комплекс вины возникает в Тарасюке, и сублимируется в комплекс любви. Он бежит за второй бутылкой по

ночному времени на стоянку такси, и всю ночь исповедуется блюющему немцу. Утром они опохмеляются, поют белорусские и рейнские народные песни, и немец убеждает его переехать в Германию: он гарантирует все условия для работы!

Тарасюк обрисовывает политическую ситуацию: пока Романов в Смольном – гнить Тарасюку на овощебазе.

Немец ободряет: он пойдет к германскому консулу, тот лично обратится к товарищу Романову, и ради дружественных отношений между двумя государствами Тарасюка немедленно выпустят в Германию. Профессиональное немецкое заболевание – гипертрофия здравого смысла.

– Забыл сорок пятый год? – спрашивает Тарасюк. – Высунусь высоко – меня просто посадят.

– Майн Готт! За что вас можно посадить?

– Боже мой! За все. Распитие спиртных напитков, хранение холодного оружия, общение с иностранцами.

И все равно немец обиделся, что Тарасюк не проводил его ни в гостиницу, ни в аэропорт. Из чего можно заключить, что Тарасюк в грузчиках резко поумнел, в отличие от немца, который грузчиком никогда не работал.

…Через месяц в тарасюковскую дверь позвонил немцев докторант, приехавший в Ленинград с тургруппой. Не доверяя почте, он лично привез письмо из Иерусалима от якобы тарасюкова родного брата, потерявшегося в оккупации, и вызов на постоянное местожительство на историческую родину Израиль. Немец оказался обязательным и настойчивым

человеком. А во Франкфурте мощная еврейская община, он подключил ее к благородному делу, не посвящая в подробности.

12. Еврей

Это даже удивительно, сколь многие и разнообразные явления ленинградской жизни пересекались с еврейским вопросом. Поистине камень преткновения. Куда ни плюнь – обязательно это как-то связано с евреями. Россия при разумном подходе могла бы извлечь из этого гигантскую, наверно, выгоду. Но традиция торговли сырьем возобладала – одного еврея просто меняли на три мешка канадской пшеницы: такова была международная увязка эмиграционной квоты с объемом продовольственных поставок. Как всегда, мир капитала наживался в неравных сделках с родиной социализма, не тем она будь помянута.

К вызову прилагалась устная инструкция. Тарасюк поразмыслил, взял бутылку, ввалился к приятелю и коллеге историку-скандинависту Арону Яковлевичу Гуревичу и между третьей и четвертой спросил между прочим, как стать евреем. Гуревич сильно удивился. Он знал абсолютно все про викингов, но про евреев знал только то, что лучше им не быть. Он посоветовал Тарасюку обратиться в синагогу; если только она работает, добавил он в сомнении.

Тарасюк постеснялся идти в синагогу, уж больно непри-

личное слово, и пошел выпить кофе в Сайгон. В Сайгоне он немедленно увидел еврея замечательно характерной внешности – рыжего, горбоносого, с одесскими интонациями. Это был Натан Федоровский, один из многих завсегдатаев знаменитого кафетерия, нищий собиратель картин нищих ленинградских художников, а ныне – известный и богатый берлинский галерейщик.

Тарасюк перебрался за столик Федоровского и, краснея и запинаясь, попросил ему помочь. Рыжий Федоровский оценил деликатность просителя и незамедлительно выдал ему двадцать копеек.

Тарасюк поперхнулся кофе, зачем-то положил рядом с его монетой свой двугривенный, и брякнул напрямик, не знает ли неизвестный ему, но, простите Бога ради, я не хочу вас обидеть, явный еврей, как можно стать евреем.

Компания Федоровского заявила, что этому человеку надо налить, и развела по стаканам бутылку портвейна из кармана.

И польщенный и добрый Федоровский выдал Тарасюку полную информацию. Тарасюка устроило все, кроме обрезания, но либеральный Федоровский успокоил, что ему это не обязательно.

Согласно полученной информации, Тарасюк избрал сокращенную форму обряда. Он продал коллекцию (все одно не вывезти) и поехал в Ригу. И в Риге знакомый Федоровского, связанный с еврейской общиной, устроил ему, за пять

тысяч рублей по принятой таксе, свидетельство о рождении его матери, каковая появилась от религиозного брака ее родителей-евреев, о чем и были сделаны соответствующие записи.

С этим свидетельством он пошел в Ленинграде в свой районный паспортный стол и написал заявление, что хочет поменять национальность с белоруса на еврея. Там не сильно удивились – он был такой не первый. Но стали мурыжить, откладывая с недели на неделю.

Тарасюк пошел выпить кофе в Сайгон и встретил там рыжего Федоровского. Тот хмыкнул, что это ерунда, надо дать двести рублей, и через неделю вручат новый паспорт. Тарасюк сказал, что продал еще не всю коллекцию, хватит еще замочить всех начальников паспортных столов; картин вот, к сожалению, нет, но если Федоровский захочет коллекционировать оружие… не умеет он давать взятки!

И бескорыстный Федоровский, плававший в питерской жизни вдоль и поперек, сунул бабки куда надо, и Тарасюк стал евреем.

Ну, еще годик его помурыжили. Гоняли за справками и допытывались, почему он всю жизнь скрывал в анкетах национальность матери и наличие родственника-брата за рубежом. Он резонно отвечал, что это могло помешать карьере, а про брата, вот письмо, и сам не знал. И через год благополучно улетел, в четверг венским рейсом, как принято.

Из всех ученых коллег и любящих учеников его прово-

жали только печальная теща и радостный Федоровский – он всех провожал и на все плевал.

Улетал он с тем же древним футбольным чемоданчиком, где были: чистая сорочка, неоконченная рукопись, бутылка коньяка, книга В. Бейдера «Средневековое холодное оружие» и крошечный никелированный дамский браунинг № 8 с перламутровыми щечками.

Немец встречал его прямо в венском аэропорту, где Тарасюк незамедлительно распил с ним коньяк и подарил на память пистолетик – точную копию того, когдатошнего… Как он протащил его через таможню – одному Богу ведомо.

ЛЕГЕНДЫ «САЙГОНА»

Легенды «Сайгона»

Крематорий

В хрущевскую эпоху улучшения жилищных условий населения в Ленинграде решили построить крематорий. Провели открытый конкурс проектов, и победил немецкий проект. То ли сказалось низкопоклонство перед заграницей, то ли у немцев больший опыт в строительстве крематориев. А вернее всего, что отцы города воспользовались возможностью съездить за казенный счет в Германию – для обмена опытом по данному вопросу и получить взятки в дойчмарках.

Отгрохали – праздник для глаз. Газоны зеленые, корпуса белые, труба квадратная – последнее слово современного архитектурного дизайна. Произнесли речи о пользе международного сотрудничества и заботе партии о народе, разрезали под аплодисменты красную ленточку – торжественно пустили в эксплуатацию еще один объект семилетки.

Но сам собой покойник ведь в трубу не вылетит. Надо набрать соответствующий персонал.

А это оказалось отнюдь не просто. Смерть – дело житейское, так что хороших кладбищ на всех тоже не хватало. Обычный же могильщик – он вполне соответствует беспечному пьянице из Шекспира, минус поправка на британскую

цивилизованность. Он мелкий вымогатель со следами дружеского мордобоя на лице, всем обликом напоминающий, что надо дать ему на водку. И погребальной торжественности на нем видно не больше, чем на еже – гагачьего пуха. Напротив: замызганным ватником и лопатой в мозолистых руках он как бы обвиняет клиентов, что он – пролетарий за работой, а они – нарядно одетые бездельники, эксплуатирующие его труд. Это создает у посетителей чувство классовой неполноценности и потребность откупиться от справедливой неприязни пролетария могилы. Что последнему и требуется.

Для крематория было приказано набрать приличных молодых людей, желательно со специальным образованием. Управление коммунального хозяйства интересуется – это ж какое такое специальное образование? вы что имеете в виду – духовную семинарию? Отвечают: без дурацких намеков! ну… психологический факультет университета, например… или Институт культуры имени Крупской – это имя, вроде, обязывает знать, как приличных людей хоронят; на худой конец – культпросветучилище, что ли.

Примечательно, что сразу вслед за этим указанием в Университете был открыт психологический факультет.

Ну что. Набрали молодых и интеллигентной внешности юношей и девушек. Положили им зарплату с надбавкой за вредность. В кочегары взяли имеющих свидетельство на право работы в котельных с жидким топливом – все бывших ин-

женеров и учителей.

В Ленинградском управлении культуры создали отдел советского обряда. Сочинили тексты прощальных речей – несколько образцов: для заслуженных, для безвременно усопших, по возрастным категориям и социальной значимости. Главлит тексты проверил, отдел культуры Обкома партии утвердил.

И стали принимать население.

И действительно, народ был доволен. Принимают покойников с провожающими – все чистые, трезвые, в черных костюмах, не матерятся. Декламируют церемонию с концертными интонациями. Правда, скорби в персонале маловато. Но, знаете, от них тоже нельзя сплошных рыданий требовать, у них работа… скорбь представляет посещающая сторона.

И мзду ведь не принимают, вот что. Ну совершенно в лапу не берут; это у них – ни-ни.

Но мы не только о грустном, мы и о веселом. У одной престарелой четы случилось огромное и радостное волнение – они выиграли в лотерею автомобиль «Москвич». Они позвали родственников и отпраздновали это событие. До этого у них, у пенсионеров, и велосипеда-то не было.

Радость, как в жизни часто случается, пришла слишком поздно. Потому что муж выпил водки, попел с гостями песен, показал всем выигрышный билет, и ночью умер.

С этим государством не надо играть в азартные игры.

Таким образом жена осталась наследной вдовой. Есте-

ственно, ей хотелось сделать для усопшего мужа все, что она еще могла. И она решила его в торжественной и скорбной обстановке кремировать.

Она сняла с книжки все их небольшие деньги, всем заплатила, везде договорилась, одела его в единственный новый костюм, в котором он вчера буквально пел за столом… И в крематории над ним произнесли печальное и высокое прощание. И тело в гробу бесшумно опустилось вниз, в преисподнюю, чтобы, пройдя бушующий очистительный огонь, вознестись с прозрачным дымом к голубым небесам.

А после скромных поминок дома, поплакав, она поставила на видное место его фотографию и стала мыть пол, протирать пыль и наводить везде порядок… Так и не успели мы, милый, поездить с тобой в собственном автомобиле. Ушел ты, и зачем теперь мне одной обеспеченная старость.

Кстати об автомобиле. Где лотерейный билет. Она лезет в коробку с документами, но там его нет. В сумочке тоже нет. И в его бумажнике нет. В тумбочке нет, в книгах нет. Нигде нет билета!

Вдова вытирает холодный пот и начинает перерывать весь дом. Все уже летит вверх дном: нету выигрышного билета!!!

На ее горестные крики и стоны прибегают соседи сверху и снизу, кто с валерьянкой, кто с валидолом и прочими успокоительными средствами: как убивается… несчастная! Ой, да куда же ты подевался! голосит вдова, да еще недавно рученьки мои тебя держали, пальчики мои тебя гладили,

глазоньки мои насмотреться не могли!.. Душераздирающие тексты.

Они ее отпаивают лекарствами, сбрызгивают водой, обмахивают полотенцами, и она рассказывает им сквозь всхлипы свою трагедию. И все ахают и сокрушаются: не может быть!.. он еще найдется!..

Вдова обзванивает всех знакомых и родственников, которые заходили в дом на праздник и поминки: простите… вы случайно с собой лотерейный билет не прихватили? Пропал…

Одни жутко сочувствуют, другие немного обижаются, но никто, естественно, не признается. Вы что, говорят, нас подозреваете?

Она заявляет в милицию: так и так, пропал лотерейный билет с выигранным автомобилем «Москвич». Нет, никого не подозреваю, но могу перечислить всех, кто мог его взять.

Милиция составляет список ее друзей и родни и начинает трясти по одному: вызывает для снятия свидетельских показаний. Все, конечно, отрицают наотрез: не брали, и все тут.

Таким образом несчастная вдова оказывается без выигрыша, без друзей и без родственников, потому что они унижены и оскорблены: понятно, у вас горе, вы не в себе, но есть же границы… у нас тоже самолюбие, в конце концов.

А средства у нее к существованию – пенсия пятьдесят рублей. И через пару дней, страшно постарев и похудев, она начинает отбирать мужнины вещи на продажу: пару рубашек

поновее, зимние ботинки, пальто… И совершенно невольно думает, что вот за новый костюм, в котором его похоронили, дали бы в комиссионке рублей сто. Вспоминает, как костюм хорошо сидел, как муж пел в нем за столом…

И вдруг с невероятной ясностью ей высвечивает, как муж дает всем по кругу посмотреть лотерейный билет и после аккуратно удвигает его в нагрудный карман пиджака! А перед сном – перед вечным сном!.. – повесил пиджак в шкаф. И больше билет она не видела. И карман этот не проверяла – в нем ведь обычно никогда ничего не было.

Задыхаясь от непоправимости случившегося, она впервые за десять лет хватает такси и мчится в крематорий. И там ей выдают урну с прахом.

Она обливает прах немыми слезами и везет домой. Ставит урну на стол и бесконечно на нее смотрит; шепчет и трясет головой.

А назавтра везет собранные вещи в комиссионку. Высидев очередь на стульях, сдает все на ничтожную сумму. И, сдав, как все женщины, независимо от возраста, положения и семейных обстоятельств, идет побродить по этому магазину. Поглазеть на тряпки…

Ну, Апраксин Двор большой, барахла много. Из женских залов она переходит в мужские, мечтает, сколько хороших вещей они могли бы купить, если бы не устраивали никакого праздника с выпивкой, а получили выигрыш деньгами… а лучше – взяли машину, и продали ее – это тысячи на пол-

торы-две дороже! И свитера теплые, и туфли чешские, и костюмы красивые… интересно, сколько все-таки наш костюм мог тут стоить? А вот как раз похожий висит…

Смотрит она этот черный костюм… похож, только наш был поновее… девяносто рублей. Погодите… ощупывает. Нет, ну точно такой!.. Смотрит брюки: она их сама подкорачивала, и ленточки перешивала… ее ленточки! ее строчка! Пиджак: пуговицы она пришивала и укрепляла накрест! Господи…

Дрожащими руками она надевает очки и читает бирку. Костюм сдан на комиссию в следующий день после похорон.

Не веря себе и происходящему, она запускает руку в нагрудный карман пиджака и вынимает оттуда лотерейный билет.

Номер она наизусть хорошо помнит. Этот номер.

Продавщица спрашивает:

– Бабушка, вам плохо?

Да сердце что-то… Можно ли посидеть где тут.

Посидела она, отдышалась, упрятала билет в ридикюль поглубже. Глаза бессмысленные, на щеках румянец выступил, и улыбка плавает странная… отвлеченная такая улыбка.

С одной стороны, ей бы теперь с этим билетом бежать подальше от магазина – на всякий случай. С другой стороны, соображение к ней медленно возвращается, и она пытается уложить в голове, как же здесь костюм оказался. И это она у продавщицы спрашивает.

Продавщица пожимает плечами – этим занимается приемка, нас не касается; а что? А то, что это костюм моего покойного мужа, в котором его как раз за день до приемки костюма похоронили.

Кого? В чем? За день до чего? Посетители с интересом прислушиваются, остановились. Продавщица меняется в лице и быстро уводит бабушку в подсобку. Наливает ей воды, сажает на стул и звонит в приемку: поднимитесь сюда быстро, быстренько!

Заходит заведующий приемкой: золотые часы, итальянские туфли, английский костюм. Бабушка повторяет: как это может быть? Он ей: невозможно, вы спутали. Костюм советский, импортный? Вот видите: «Ленодежда», расхожий стандарт, да их тысячи таких. Она: ленточки! пуговицы! Хорошо, предлагает, пройдемте посмотрим вместе.

Смотрят: нет этого костюма. Сотня висит, а этого нет. Видите, говорит заведующий, вам показалось. Вот черный, и вот, и вот… ну? Не этот? Я понимаю, вы в потрясении, такое горе, и вам почудилось… это бывает.

Старушка белеет и пошатывается: понимает, что это был сон наяву, желанный сон… Она лезет в ридикюль – и видит, что лотерейный билет исправно лежит на месте!

В полном ошизении, прижимая драгоценный ридикюль к груди двумя руками, чудом не попав под машину, она прибредает домой. Закрывает дверь на все запоры. Проверяет задвижки форточек и задергивает шторы. Думает, прячет

урну с прахом в тумбочку и закрывает на ключ. И только после этих мер безопасности извлекает из ридикюля сказочный билет, кладет посреди стола и придавливает уголком утюга.

И сутки боится отвести от него глаза, чтобы он не исчез. Колет себя булавкой и звонит по телефону всем подряд – здоровается и, услышав ответ, вешает трубку: боится, что она сошла с ума. Убедиться, значит, что ей не чудится.

Через сутки успокаивается в каком-то равновесии, вспоминает – и звонит в милицию: спасибо, не беспокойтесь, билет нашелся.

Следователь: вот видите! Что ж вы, бабуля, это не шутки – всех взбаламутили! А вам известно, что за ложное заявление полагается ответственность перед законом? Где же вы его нашли?

А в нагрудном кармане костюма мужа.

Ну! Что же вы – раньше посмотреть не могли?!

Да как же я могла, он был в магазине.

В каком магазине?

В комиссионном.

Хорошую бы покупочку кто-то совершил, а! Как же вы так невнимательны, сдавая вещи, даже карманы не проверили?

Да я его и не сдавала.

Как? А кто сдавал?

Да я и не знаю.

То есть как?

Да его в этом костюме похоронили.

Что? А?..

Вернее, кремировали.

Подождите, подождите… что-то я не понимаю! А билет кто в карман положил?

Да он сам и положил.

Так, ясно: тронулась бабка с двойного горя. Но у следователя свой интерес: дело закрыть. Приезжайте, говорит, забрать ваше заявление.

Она приезжает: показывает билет, хихикает и плачет. Чудо, рассказывать порывается, Господь явил: билет дал в руки, а костюм забрал обратно. Следователь начинает невольно заинтересовываться: значит, в комиссионке? В какой? А, Апраксин Двор; знаем такой, знаем… Говорите, висел, а потом из приемки к вам пришли, а потом уже не висел. Так-так; хорошо; возьмите-ка вот этот листок и напишите по порядку все, что с вами в магазине было.

Следователь отправляет практиканта в Апраксин: переписать там все имеющиеся в наличии мужские костюмы, подходящие для похорон – кто и когда сдавал, кто принимал. А сам дует прямо в крематорий.

А там, в рабочем, так сказать, подвальном помещении видит он интереснейшую обстановку. Оплаканные покойники лежат в стеллаже у стенки, готовые предстать пред Вседержителем нашим в таком виде, в каком и явились на сей свет: безо всяких, то есть, суетных подробностей в виде одежд и гробов.

А у стены напротив сложены аккуратно штабели разнообразных гробов и тючки с одеждой. Приготовлены.

Посередине, в проходе, стоит теннисный стол, и обслуживающий персонал играет на нем в пинг-понг. На вылет. Двое играют, остальные курят и пиво пьют, ждут своей очереди.

А надо всем этим кладбищенским покоем, в довершение картины, летает зеленый попугай и лузгает семечки.

Это, значит, интеллигентные крематорщики наладились все, что можно, пускать на продажу. Внедрили свой вариант утилизации вторсырья. В порядке посильной помощи текстильной и деревообрабатывающей промышленности. Закон физики: круговорот вещей в природе.

Потом они мотивировали: больно смотреть, как добро пропадает без всякой пользы – а ведь людям еще понадобится! Вот после этой истории всю первую команду ленинградского крематория и посадили в полном составе.

А комиссионщики, что характерно, отмазались: никакого сговора, никакого краденого, знать ничего не знали, какой ужас!

Да; а ведь хорошее, вспоминают, было качество обслуживания.

Танец с саблями

История советской музыки создавалась на пятом этаже гостиницы «Европейская», в буфете. Это был самый музы-

кальный буфет в мире. Филармония находится прямо напротив, через улицу, и музыканты неукоснительно забегали в этот буфет до репетиции, после репетиции, а иногда и вместо репетиции. Для большей беглости пальцев и бодрости духа. А также после концерта, перед концертом, и просто так, по привычке. И свои, и заезжие – это было почти как ритуал. Любая буфетчица с «Крыши» знала о музыкантской жизни города больше, чем директор Ленфилармонии или секретарь Союза композиторов. Музыкантов здесь знали, уважали и прощали им многие артистические выходки – творческие натуры… слава города! Здесь не спрашивали, что надо посетителям – их считали по головам и наливали по сто коньяку, если до работы, а если после – то по сто пятьдесят. А сто грамм коньяка стоили в те времена рубль.

А поскольку Ленинград был городом более филармоноцентрическим, нежели театроцентрическим, в отличие от Москвы, что давно отмечено, и именно в филармонии собирался свет и происходил бомонд, то все обсуждаемые там истории автоматически становились достоянием Невского и входили в перечень тем, рекомендуемых к беседе меж людьми образованными и не чуждыми искусств.

А Герой Социалистического Труда и лауреат до черта всяких премий Арам Ильич Хачатурян, личный большой друг Мравинского, Рождественского и прочих, был там, на улице Бродского угол Невского, стойка бара от лифта направо, гостем постоянным и музыкальному Ленинграду вполне род-

ным. Он был человек знаменитый, гость желанный, широкая душа, кавказской общительной щедрости – в доску свой от Москвы и Ленинграда до родной Армении, не говоря уже о Франциях и Испаниях, из которых просто не вылезал…

Вот в Испании как-то на гастролях, проходивших с огромным успехом – испанцы вообще народ музыкальный, а музыку темпераментную, огневую, ценить умеют в особенности, – его устроители и спрашивают: что бы он хотел еще увидеть или получить в Испании, они будут рады сделать великому и замечательному композитору приятное, услужить, одарить, устроить, расстелиться под ноги, не ударить в грязь лицом, и прочие цветастые латинские изъявления.

Хачатурян, в свою очередь, был в быту человек скромный, достойно несущий свое величие и славу. Принимали его по высшему разряду, и желать он мог только птичьего молока. Но молока он не употреблял, любимым его напитком был, напротив, коньяк «Арарат». Поэтому он развел руками, поблагодарил хозяев, подумал и в порядке ответной любезности на комплименты своему несравненному гению отвечал, что Испания, в которой он имеет честь выступать, является родиной величайшего художника двадцатого века Сальвадора Дали, лидера и славы мировой живописи и его кумира. И никаких таких желаний у него, восхищенного баснословным испанским гостеприимством, нету и быть не может; вот разве только он был бы рад встретиться и познакомиться с мэтром Сальвадором Дали, дабы лично засвидетельствовать

ему свое глубочайшее почтение и даже попросить автограф на альбом с репродукциями.

При этом заявлении устроители слегка меняются в лице; переступают с ноги на ногу… Потому что Дали славился непредсказуемой эксцентричностью, и просьба эта вовсе не факт, что выполнима… Более всего она невыполнима по той простой причине, что Дали живет в Америке. В Испанию он изредка наезжает.

Но все устроилось со сказочной быстротой и пугающей легкостью. Заокеанский Дали благосклонно выслушал по телефону пожелание встречи и ответил, что он поклонник великого композитора и почтет за счастье принять его в своем скромном испанском жилище в любое время, какие разговоры. Ради этого счастья он бросит все дела, которых у него, в сущности, и нет, кому он нужен, бедный старый художник, и сейчас же едет в аэропорт и садится в самолет. Скажем, завтра? Допустим, в два часа дня? Если это устроит конгениального композитора Хачатуряна, то он, скромный малевальщик Дали, безвестный неудачник, будет весь остаток своих дней счастлив, совершенно счастлив, что его ничтожная особа может представлять какой-то интерес для такого гиганта и светила мировой музыки.

И потрясенный до потери пульса импресарио передает это приглашение Хачатуряну, с испанским тактом давая понять, что слава Хачатуряна превзошла уже вовсе все мыслимые и немыслимые пределы, если сам мэтр Дали! который спосо-

бен послать куда подальше любого президента – просто так, под настроение и для скандальной саморекламы! – так высоко ценит Хачатуряна.

И назавтра без трех минут два лимузин правительственного класса привозит Хачатуряна с импресарио, секретарем и переводчицей к воротам белокаменного мавританского замка Дали, с башенками, шпилями, зубцами и флажками. Привратник и охранник в ослепительных ливреях распахивают ворота и сообщают, что хозяин уже ждет, и его пожелание – провести встречу на интимном, семейном, можно сказать, уровне, поэтому переводчик не нужен, ведь у монсеньора Дали жена тоже русская, и машина тоже не нужна, потому что монсеньор Дали распорядился отвезти гостя после встречи обратно на своей машине. Который тут из вас сеньор Хачатурян? Сделайте честь, сеньор, проходите. Нет-нет, остальных принимать не приказано.

Остальные пожимают плечами и не удивляются, потому что все это вполне в духе Дали. Они пожимают Хачатуряну руку, желают хорошо провести время, передают приветы своему великому земляку, и уезжают.

А Хачатуряна сопровождают по мраморной аллее в замок. На крыльце ему отвешивает поклон уже просто какой-то церемониймейстер королевского двора, и Хачатурян начинает сомневаться: правильно ли он одет, может быть, уместнее было бы явиться в смокинге… но его же об этом не предупреждали, да и время дневное, встреча неофициальная… да

он и сам, в конце концов, великий человек! чего там…

Церемониймейстер приглашает его в роскошный приемный зал – белая лепка, наборный паркет и зеркала, – предлагает садиться и вещает по-испански, что монсеньор Дали сейчас выйдет вот из этой двери. В этот самый миг старинные часы на стене бьют два удара, церемониймейстер кланяется и исчезает, закрыв за собой двери.

И Хачатурян остается в зале один.

Он сидит на каком-то роскошном златотканом диване, не иначе из гарнитуров Луи XV, перед ним мозаичный столик, и на этом столике изящно расположены армянские коньяки, испанские вина, фрукты и сигары. А в другом углу зала большая золотая клетка, и там ходит и распускает радужный хвост павлин.

Проходит минута, и другая. Зная, что пунктуальность в Испании не принята ни на каком уровне, Хачатурян оживленно осматривается по сторонам, приглаживает волосы и поправляет галстук. Очевидно, жена Дали Гала тоже будет, раз не требуется переводчик. Он заготавливает вступительные фразы и оттачивает тонкие комплименты.

В десять минут третьего он полагает, что, в общем, с секунды на секунду Дали уже зайдет, и прислушивается к шагам.

В четверть третьего садится поудобнее и выбирает сигару из ящичка. Выпускает дым и закидывает ногу на ногу.

В двадцать минут третьего он начинает слегка раздра-

жаться – какого лешего, в самом деле… сам же назначил на два часа! – наливает себе рюмку коньяка и выпивает.

В половине третьего он наливает еще рюмку коньяка и запивает ее бокалом вина. Щиплет виноград!..

Налицо все-таки нарушение этикета. Хамство-с! Что он, мальчик? Он встает, расстегивает пиджак, растягивает узел галстука, сует руки в карманы, и начинает расхаживать по залу. С павлином переглядывается. Дурная птица орет, как ишак!

А часы исправно отзванивают четверти, и в три четверти третьего Хачатуряну эта встреча окончательно перестает нравиться. Он трогает ручку двери, из которой должен выйти Дали – может, церемониймейстер залы перепутал? – но дверь заперта. И Хачатурян решает: ждет до трех – и уходит к черту. Что ж это за безобразие… это уже унижение!

Ровно в три он нервно плюет на сигарный окурок, хлопает на посошок рюмочку «Ахтамара» и твердо ступает к двери.

Но оказывается, что эта дверь, в которую он входил, тоже не хочет открываться. Хачатурян удивляется, крутит ручку, пожимает плечами. Он пробует по очереди все двери в этом дворцовом покое – и все они заперты!

Он в растерянности и злобе дергает, толкает, – закрыли! Тогда он для улучшения умственной деятельности осаживает еще коньячку, ругается вслух, плюет павлину на хвост, сдирает галстук и запихивает в карман…

Он ищет звонок или телефон – позвонить камердинеру

или кому там. Никаких признаков сигнализации.

Может, с Дали что-нибудь случилось? Может, он не прилетел? Но ведь – пригласили, уверили… Сумасшествие!

А жрать уже, между прочим, охота! Он человек утробистый, эти удовольствия насчет пожрать любит, а время обеденное: причем он специально заранее не ел, чтоб оставить место для обеда с Дали – по всему обед-то должен быть, нет?

Присаживается обратно к столику, выбирает грушу поспелее, апельсином закапывает рубашку, налегает на коньяк и звереет – настраивается на агрессивный лад!

И в половине четвертого начинает ощущать некоторую потребность. Вино, понимаете, коньяк, фрукты… В туалет надобно выйти Араму Ильичу. А двери заперты!!!

Никакие этикеты и правила хорошего тона уже неуместны, он стучит во все двери, сначала застенчиво, а дальше – просто грохочет ногами: никакого ответа. Тогда пытается отворить окна – или покричать, или уж… того… Но стрельчатые замковые окна имеют сплошные рамы, и никак не открываются.

Хачатурян начинает бегать на своих коротких ножках по залу и материться с возрастающим напором. И к четырем часам всякое терпение его иссякает, и он решает для себя – вот ровно в четыре, а там будь что будет! да провались они все!

А на подиуме меж окон стоит какая-то коллекционная ваза, мавританская древность. Красивой формы и изрядной,

однако, емкости. И эта ваза все более завладевает его мыслями.

И в четыре он, мелко подпрыгивая и отдуваясь, с мстительным облегчением писает в эту вазу и думает, что жизнь не так уж плоха: замок, вино, павлин… и высота у вазы удобная.

А часы бьют четыре раза, и с последним ударом врубается из скрытых динамиков с оглушительным звоном «Танец с саблями»! Дверь с громом распахивается – и влетает верхом на швабре совершенно голый Дали, маша над головой саблей!

Он гарцует голый на швабре через весь зал, маша своей саблей, к противоположным дверям – они впускают его, и захлопываются!..

И музыка обрывается.

Входит церемониймейстер и объявляет, что аудиенция дана.

И приглашает к выходу.

Остолбеневший Хачатурян судорожно приводит себя в порядок, справляясь с забрызганными брюками. На крыльце ему почтительно вручают роскошный, голландской печати, с золотым обрезом, альбом Дали с трогательной надписью хозяина в память об этой незабываемой встрече.

Сажают в автомобиль и доставляют в отель.

По дороге Хачатурян пришел в себя и хотел выкинуть к черту этот поганый альбом, но подумал и не стал выкиды-

вать.

А там его ждут и наперебой расспрашивают, как прошла встреча двух гигантов. И он им что-то такое плетет о разговорах про искусство, стараясь быть немногословным и не завраться.

В тот же день полное изложение события появляется в вечерних газетах, причем Дали в простительных тонах отзывается об обыкновении гостя из дикой России использовать в качестве ночных горшков коллекционные вазы стоимостью в сто тысяч долларов и возрастом в шестьсот лет.

Так или иначе, но больше Хачатурян в Испанию не ездил.

Легенда о соцреалисте

Советский писатель – это, я вам доложу, продукт особенный. Если специалист подобен флюсу, то специалиста столь характерного, как именно советский писатель, трудно даже уподобить какой-либо цензурной части тела.

Фокус в том, что когда совписатель становится профессионалом, он втягивается в жизнь столь специфическую, что скоро абсолютно теряет представление, как там живет народ, и что там вообще кругом делается. Чтоб публиковаться в издательствах и журналах, получать путевки в дома творчества и загранкомандировки и вообще держаться на плаву в литературном процессе, необходимо постоянно поддерживать связи в своем клане: пускать пар в свисток. Быть на виду,

оказывать услуги нужным фигурам, прознавать важные новости, участвовать во всяких мероприятиях и говорильнях, и все это поглощало полностью все время, силы и интересы. А с целью «собирать материал» о жизни «простого народа» выписывались «творческие командировки» по стране: писателя встречали, поили-кормили, ублажали и возили на экскурсии: пусть посмотрит сочинитель, совесть народная, как доятся рабочие и выполняют план по маслу коровы и быки.

Поэтому в эмиграции совписателю трудно: непривычно. Он ведь, собственно, ничего не знает. Он ведь, собственно, жил в некоем аквариуме, где рыбки жрали самосильно друг друга и воевали за жирного червячка и сытное место при кормежке.

Вот так один московский письменник свалил по израильской визе в Америку и там выхлопотал у издательства заказ на роман, обличающий ужасы и агрессивность советского строя. Он с энтузиазмом угромоздился за стол, мысленно упиваясь суммой будущего гонорара в прикиде на всякие хорошие и красивые вещи, и… вскоре с обескураженностью и паникой обнаружил, что об советской жизни не знает вовсе ничего! Ну начисто! А что знает – то слышал по «Свободе» и «Би-Би-Си». Поскольку все сознательные годы и прожил в Центральном доме литераторов, устраивая свои дела с коллегами за выпивкой и сигаретой.

Так он блестяще вышел из положения, накатав роман «ЦДЛ», где и изложил все, что ему вообще было известно

о советской действительности: со злобным весельем и артистической раскованностью свел счеты со всеми личными врагами, наплел сплетен, приврал сорок бочек арестантов – и пошла книга! пошла! Но, как нетрудно предположить, это осталась его единственная книга за рубежом: материал жизненных впечатлений был исчерпан досуха.

Вообще деловые люди Невского – фарцовщики, мясники, официанты и парикмахеры: элита! – за бугром вдруг как-то обнаруживали, что они пролетают, и родным ремеслом толком не прокормиться… Вот те и свободный мир… простор для бизнеса, мля!..

И среди прочих, кто свалил перед Московской олимпиадой в Штаты, был замдиректора Ленплодовощторга. Можно себе представить, каких масштабов фигурой он был в Ленинграде. Золотое дно, миллионные махинации: магнат. Один из хозяев города. Стометровая квартира на Мойке, забитая антиквариатом, белая «Волга», и собачке золотые зубы вставлены. Но – вечно отмазываться, совать взятки, комбинировать с документами, – нет возможностей гению бизнеса для настоящего разворота. И он свалил в страну настоящего разворота.

И в этой бездушной Америке оказалось, что он на фиг никому не нужен. Не требуются этим зажравшимся заразам ни фрукты, ни овощи, ни директора плодовых баз. Ни тебе у них пересортицы, ни дефицита, рынок рабсилы забит профессионалами, а он человек уже немолодой, и его вообще на

работу никуда не берут: делать ничего, мол, не умеет… или не больно хочет. И бывший магнат, а ныне балда-совок, на свое пособие начинает мрачно пропивать тоску по родине: русская ностальгия, классика.

А отношения Америки с Союзом на тот момент предельно мерзкие, Империя Зла, понимаешь, и один мелкий литагент тут предлагает ему, среди прочих, написать антисоветский роман: за это вполне платят; это требуется. Он – крупная величина был, мозговик, менеджер, насквозь знает душившую его систему, от которой сбежал под угрозой сибирской каторги: чего ж ему не написать.

Он хватается за это предложение, добивается подписания контракта, как человек деловой, выторговывает аванс – и становится писателем!

Он приносит из прокатной конторы на Брайтоне машинку с русским шрифтом, покупает пачку бумаги, и при благоговейной тишине домочадцев начинает писать роман. Антисоветский. Люто все уже ненавидит.

Пять минут начинает. Час начинает.

Он потеет день, другой, неделю, и по прошествии недели впадает в черную меланхолию, и вдобавок к пособию пропивает аванс. И не может написать ни единого слова. Не приучен. Профессия другая. Даже крохотного рассказика не получается. Не сочинитель он, ну фантазии не хватает: другой склад ума. Он всю прежнюю жизнь посвятил вещам конкретным: деньги воровал, – тут мечтательность, знаете, противо-

показана. Замечтаешься – и пожалте в загородку!

Грядет срок сдачи рукописи, звонит литагент: кранты! Не только заработок заодно с писательской славой рухнул – но и аванс возвращать надо! Проеден давно аванс, пропит. «Будет взыскан по суду».

Но литагент тертый, приезжает – спокойно разбираться:

– Слушайте, вы кем работали?

– Заместителем директора Ленплодовощторга.

– Ага. Торговля. У русских не поощряется.

– Не поощряется… Н-но окупается…

– Оу? И крупное дело?

– Еще какое!

– Большие деньги, много людей?

– Еще какие деньги, дорогой мой!.. И каждому – дай!..

– Случались интересные истории?

– Да еще какие истории!

– Вы преследовались советскими властями?

– Упаси Бог! У меня всегда комар носу не подточит!

Агент – недоволен:

– Но вы, наверное, боялись пострадать?

– Да уж инфаркт нажил.

– Могли серьезно наказать? За что?

– За что угодно! За все. Могли вообще расстрелять.

– Оу? – просветлел агент. – Так какого черта? Пишите книгу о своей жизни и работе. За что могли расстрелять. Посмотрим.

И под угрозой отбирания аванса и впадения в полное ничтожество бывший замдиректора целит неумелым пальцем в клавиши, потеет от умственного усилия и начинает стучать:

> «Я приехал в Ленинград 19 июня 1962 года. Из Днепропетровска. На Витебский вокзал. В 9.32 утра. По телефону К-1-89-90 я позвонил директору овощного магазина № 23 Петру Сергеевичу Амбарцумову и сказал, что я от Тимофея Ивановича, Левченко. Он сказал, чтобы я подъезжал, на троллейбусе № 9…»

И далее – с утра до вечера, трудолюбиво и скрупулезно, выстукивал он свою биографию во всех нюансах, славный путь от помощника продавца до замдиректора объединения. Фантазии у него, может, действительно не было, зато память – профессиональная, тверже алмаза.

Через пару месяцев, осунувшись и просветлев от напряжения, он перевязал веревочкой здоровеннейшую пачищу листов и повез литагенту, радостно вздыхая.

Литагент вытаращил глаза на эту эпопею толщиной с «Войну и мир» и с сомнением сказал:

– Я знаю, что русские очень трудолюбивы… что, вы еврей? ну тем более… Поработали, вижу…

Директор говорит покровительственно:

– Дорогой мой. Знали бы вы мою биографию. Куда там Дюма.

Литагент отвечает без энтузиазма:

– Не знаю, с Дюма я не работал… ну, почитаем…

Почитал и понял, что деньги выброшены зря: нечитабельное сочиненьице получилось. Продать невозможно. О чем автора и извещает с прискорбием.

Но автор вместо скорби проявляет присущую русским агрессивность. За доллар двадцать нашего директора не возьмешь, он уже расправил крылья, как летучий змей. Он уже слегка проконсультировался у русско-еврейского юриста с Брайтона же, как вставить штатничкам перо в нежное место. И извещает кормильца-агента с ледяной учтивостью гангстера, что представил рукопись, удовлетворяющую условиям контракта, и хотя суд он, возможно, агентовой конторе и проиграет, но реноме ей попортит на сумму много бóльшую, чем причитающийся ему по справедливости гонорар.

Агент печально матерится и с утроенными усилиями пихает рукопись куда ни попадя! И – о чудо! – одно мелкое издательство ее таки берет. Издательство сочло, что это весьма оригинальное, а главное – крайне подробное и доходчивое пособие по плодоовощторговому бизнесу СССР, не имеющее аналогов нигде и никогда в мире, и подобная книга может воспользоваться некоторым спросом у ряда советологов, бизнесменов, экономистов и тому подобное.

Действительно: книга вышла, небольшим тиражом, и даже была замечена несколькими специалистами, и в общем окупилась.

Так что все остались довольны. А особенно, конечно, ди-

ректор. Как легко понять, это была его единственная книга, потому что больше ему писать было уже нечего. Его литературная деятельность этим и завершилась.

Завершилась, но не ограничилась. Потому что это – только первая часть истории.

А вторая часть происходила в родимом Ленинграде.

В Большом Доме на Литейном был соответствующий отдел, укомплектованный все больше интеллигентными филологами с университетским образованием, которые, как полагается нормальным филологам, ничего в жизни не умели, а умели только читать книги. Из небогатого умения этих книгочеев государство пыталось извлекать посильную для себя пользу. Они весь рабочий день читали себе вволю изданные на Западе книги наших эмигрантов, анализируя их на предмет вредоносности. За это филологам платили прекрасную зарплату офицеров КГБ, чтоб они не вопили о ненужности гуманитарной культуры в СССР и не впадали в диссидентство. А выводы их о прочитанных книгах изучали в другом отделе, который и решал, какие именно меры принять к очернителям Отечества, дабы не забывали о длинных руках голубоглазых мальчиков: автомобилем размазать по стенке или ток ему из сети на электробритву закоротить. А кого и вербануть, либо же просто плюнуть: у них тоже план работы и лимиты на расходы.

Плодоовощную симфонию изучили с превеликим тщанием: и затруднились. Незаурядная книга оказалась; неорди-

нарная. Подумали в отделе, и передали ее вообще в другое Управление. И скромное сочинение торговца удостоилось судьбы и чести, равняющих его с великими произведениями мировой литературы: книга зажила своей собственной жизнью, независимой от воли и замысла создателя.

В один прекрасный день звонит телефон в кабинете начальника снабжения Ленплодовощторга. Его очень вежливо приглашают заехать на Литейный: так, знаете, просто, неофициально, побеседовать о том-о сем.

Начальник скушал валидольчику, уничтожил некоторые бумажки, и, репетируя варианты дебюта предстоящей беседы, потихоньку поехал. А там встречает его приятный молодой человек, приглашает садиться, протягивает курить, и между делом светским таким тоном осведомляется:

– Скажите пожалуйста, Иван Иванович, а вот в Одессе с Федор Федоровичем вы договаривались только об апельсинах, или о бананах тоже? Или о бананах позже, уже в Москве?

Иван Иванович, калач тертый, жизнь в торговле, честными глазами смотрит и отвечает спокойно, что не знает никакого Федора Федоровича, а в чем, собственно, дело? И какие бананы?

Молодой человек кивает сочувственно, достает из ящика стола толстую книгу, растопорщенную закладками, как дикобраз, раскрывает на одной из закладок и с наслаждением зачитывает: такого-то числа такого-то года, в такое-то время,

по такому-то адресу, собрались такие-то (полный перечень фамилий, инициалов и должностей) для решения таких-то вопросов (полный протокол повестки собрания). Кто во что был одет, кто явился с любовницей, кто что сказал и какова была резолюция.

– Продолжим чтение? – интересуется декламатор. И поскольку Иван Иванович молчит: ртом двигает, дышит, – вынимается следующая закладка: – А вот уже август такого-то года, эшелон арбузов из Астрахани, такого-то числа совместно с тем-то и тем-то решили то-то и то-то, что позволило получить незаконную прибыль в сумме столько-то десятков тысяч рублей тридцать семь копеек, каковые деньги и были поделены между участниками сговора вот в такой пропорции…

Иван Иваныч пучит глаза и на грани кондрашки соображает, кто ж это у них все годы стучал. А молодой человек читает самозабвенно тоном президента, поздравляющего весь советский народ с новым годом.

К Ивану Иванычу зовут доктора, и тот ему делает укол для поддержания сознания. И увозят его непосредственно в больницу.

А молодой человек перевертывает страничку и набирает следующий телефонный номер. Беседовать приглашает.

И приглашаемые слушатели один за другим валятся со стула, как кегли. Откуда информация?! Этого никто не мог знать!!! Что за тотальное наблюдение… Что за страшная вез-

десущая организация это КГБ!..

– Так что мы знаем про вас абсолютно все, – деловито давит клопов молодой человек. – До малейших деталей. Ну – будем запираться, или будем сознаваться?..

А как ты тут будешь запираться, когда сидишь голенький на ладони?..

В течение пары месяцев Ленплодовощторг не работал. Он трясся и садился. Он трясся, как осиновый лист и как груша, и садился в полном составе. Торговые связи выбирались, как якорные цепи, и упрятывались в объемистые ящики следственных камер. Какая капуста, какие огурцы! не до них… Упал зрелый и сочный Ленплод прямо в заботливо подставленные руки лучших из всех жнецов и сборщиков – советских чекистов.

Они и пожали весь урожай почестей и наград за это дело – раскрытие торговой мафии! – там, как всегда, где не пахали-не сеяли: даже благодарности, грамоты там ко Дню милиции, рублевой премии не получил тот, кто все это организовал. Торчит себе по-прежнему на Брайтоне создатель как мафии, так и книги о ней, и тоже теперь трясется: ох макнут его наемные бойцы из Санкт-Петербурга! ох больно язвит терновый венец литератора!

Нет: не прощают коллеги гению литературного успеха!..

Так что литература на жизнь – влияет; еще как влияет. Если это подлинная литература, основанная на глубоком знании жизненного материала.

Потому что в Ленплодовощторге сменился весь состав – целиком. И в течение полугода потом в Ленинграде наблюдалось полное изобилие овощей и фруктов: прямо Снайдерс какой-то на прилавках – жри – не хочу. Ленинградцы недоумевали и радовались, а начальник обкома товарищ Романов получил орден за создание изобилия в колыбели революции.

Нет, потом, конечно, все пошло по-старому, разворовали все, но первые полгода-то – побаивались, стеснялись, система была не налажена. Ну – после чистки какое-то время ведь почище.

Так что если б позаботилось какое-нибудь американское издательство раз в год издавать подобную книжку, это был бы замечательный вклад в продовольственное снабжение России.

Американист

Была в ходу в Ленинграде после шестьдесят седьмого года и такая шутка: «Чем отличается Суэцкий канал от канала Грибоедова? Тем, что на Суэцком евреи сидят по одну сторону, а на Грибоедова – на обеих».

На канале Грибоедова, а отнюдь не на Суэцком, родился некогда и известный советский политический обозреватель-американист, комментатор, политолог и обличитель Валентин Зорин. Правда, фамилия его была тогда не Зорин, а несколько иная, более гармонирующая с внешним обликом.

Про Зорина была и шутка персональная: Родилась она во время визита в Союз Генри Киссинджера и основывалась на необычайном их внешнем сходстве: Зорин был вылитой копией Киссинджера, прямо брат-близнец, только в одну вторую натуральной величины – тот же курчавый ежик, оттопыренные уши, жирный подбородок и роговые очки. «Скажите, пожалуйста, господин Зорин, вы еврей? – Я – русский! – А-а. А я – американский».

Вот этот Валентин Зорин, знаменитый в те времена человек, лет двадцать безвылазно просидел в Америке. Он был собкором ТАСС, и АПН, и «Правды», и всего на свете. Он в этой Америке изнемогал и жертвовал жизнью на фронтах классовой борьбы. Он жил в американском коттедже, ездил на американской машине, жрал американскую еду и носил американскую одежду. В порядке ответной любезности он сумел рассказать об Америке столько гадостей, что будь она хоть чуть-чуть послабее и поменьше – давно бы рухнула под тяжестью его обличений.

В профессиональной среде он имел среди коллег кличку «Валька-помойка».

Зорин был профессионал, и не было в Америке такой мелочи, которую он не обращал бы ей в порицание и нам в хвалу. Умел отрабатывать деньги. А деньги были неплохие; зеленые такие. Баксы. Не каждый сумеет за антиамериканскую неусыпную деятельность получать в американской же валюте.

Такое было время акробатов пера и шакалов ротационных машин.

И вот он однажды под вечер выходит из одних гостей. Его там в доме принимали прогрессивные американцы, кормили его стейками, поили виски и говорили всякие приятные вещи. И он уже обдумывает, как сделать из этого антиамериканский материал. И повыгоднее его пристроить.

И идет он к своей машине, припаркованной в сотне метров у тротуара. И тут сзади ему упирается в почку что-то вроде пистолетного ствола, и грубый голос приказывает:

– Не шевелиться! Бабки гони!

Ограбление, значит. Типичный нью-йоркский вариант.

Зорин, как человек искушенный и все правила игры знающий, не дергается. В нагрудном кармане пиджака у него, как советуют все полицейские инструкции, лежит двадцатка. И он ровным голосом, стараясь не волноваться, отвечает, что у него с собой двадцать долларов всего, в нагрудном кармане.

– Доставай, но без резких движений!

Он осторожно достает двадцатку и протягивает за плечо. Ее берут, и голос угрожает:

– Пять минут не двигаться! А то – покойник!

И тихие шаги удаляются назад.

Когда, по расчетам Зорина, времени проходит достаточно для того, чтобы грабитель удалился на безопасное расстояние, он оглядывается – и видит, как за угол скрывается поспешно негр. Самый такой обычный, в синих джинсах, в

клетчатой рубашке, в белых кедах.

Зорин садится в свою машину и едет. А сам обдумывает. Это ж какой случай замечательный! Средь бела дня советский корреспондент ограблен в центре Нью-Йорка вооруженным преступником! Вот уже до чего дошел разгул безобразий! И полиция их продажная бессильна! Прекрасный материал сам в руки приплыл.

И чтобы сделать очередной журналистский шедевр более убедительным, емким и панорамным – показать всю прогнилость и обреченность ихнего строя, он гонит к ближайшему отделению полиции. Стреляный воробей: а то завопят потом – лжет этот красный, никто его не грабил, почему не обратился в полицию, если грабили?! Пожалуйста – обращаюсь.

А поди ты его поймай: лица не видел, примет не знаю, а таких ограблений – да тысячи ежедневно. Стрелял наркоман двадцатку на дозу – это как промысел: верняк.

Он тормозит под вывеской полицейского участка и просит проводить его к дежурному – он должен заявить об ограблении.

В отделении сидит под кондиционером здоровенный сержант с красной ирландской рожей и голубыми глазками, вытянув ноги на стол, и жует жвачку.

– Привет! – говорит он Зорину. – Какие проблемы?

– Я советский журналист! – заявляет Зорин. – И меня сейчас ограбили прямо на тротуаре в вашем городе!

– Да, – сочувствует детина, – это бывает. Кто ограбил?

– Приставили пистолет к спине и отобрали деньги.

– Приметы, – говорит детина, – приметы! Подробности потом. Если вы заинтересованы, чтобы мы нашли преступника – давайте попробуем.

– Черный, – описывает Зорин ехидно. – В синих джинсах, в клетчатой рубашке. В белых кедах. Роста так среднего. Не старый еще, конечно.

– Так, – спокойно говорит сержант. – Понятно. Где это, говорите, случилось, мистер? Сколько минут назад?

А во всю стену мигает лампочками подробнейшая карта города.

Сержант щелкает тумблером и говорит:

– Алло! Джон? Фил? Уличное ограбление. Квадрат 16-Д. Тридцать шестая, близ угла Второй авеню. Девятнадцать пятнадцать плюс-минус минута. Чернокожий, среднего роста, синие джинсы, клетчатая рубаха, белые кеды. Давайте. Он бомбанул русского журналиста, тот волну гонит. Да. Сколько он у вас взял, сэр?

А говорить, что весь этот сыр-бор из-за двадцатки, как-то и неудобно. Не того масштаба происшествие получается. Попадет потом в газеты: коммунистический журналист хотел засадить в тюрьму бедного представителя угнетенного черного меньшинства за паршивые двадцать долларов. И Зорин говорит:

– Триста долларов.

– Алло! Он с него снял триста баков – вы пошустрите,

ребята.

Придвигает Зорину пепельницу, газету, пиво:

– Посидите, – говорит, – немного, подождите. Сейчас ребята проверят, что там делается. Да, – признается, – с этими уличными ограблениями у нас просто беда. Уж не сердитесь.

– Ничего, – соглашается Зорин, – бывает. – А сам засекает время: чтоб написать потом, значит, сколько он проторчал в полиции, и все без толку, как его там мурыжили и вздыхали о своем бессилии. Отличный материал: гвоздь!

Он располагается в кресле поудобнее, открывает банку пива, разворачивает газетку… И тут распахиваются двери, и здоровенный полисмен вволакивает за шкирку негра:

– Этот?

И у Зорина отваливается челюсть, а пиво идет через нос. Потому что негр – тот самый…

Сержант смотрит на него и констатирует:

– Рост средний. Особых примет нет. Джинсы синие. Рубашка клетчатая. Кеды белые. Ну – он?!

И Зорин в полном ошеломлении машинально кивает головой. Потому что этого он никак не ожидал. Это… невозможно!!!

Нет – это у них там патрульные машины вечно болтаются в движении по своему квадрату, и до любой точки им минута езды, и свой контингент в общем они знают наперечет – профессионалы, постоянное место службы. Так что они его прихватили тут же поблизости, не успел еще бедняга дух пе-

ревести и пивка попить.

– Та-ак, – рычит сержант. – Ну что: не успел выйти – и опять за свое? Тебе что – международных дел еще не хватало? Ты знаешь, что грабанул знаменитого русского журналиста, который и так тут рад полить грязью нашу Америку?

– Какого русского, офицер? – вопит негр. – Вы что, не видите, что он – еврей? Стану я еще связываться с русскими! Вы меня с Пентагоном не спутали?

Зорин слегка краснеет. Сержант говорит:

– Ты лучше в политику не лезь. Он – русский подданный. И сделал на тебя заявление. Говори сразу – пушку куда дел?

– Какую пушку? – вопит негр. – Да вы что, офицер, вы же меня знаете – у меня и бритвы сроду при себе не было. Что я, законов не знаю? вооруженный грабеж пришить мне не получится, нет! Я ему палец к спине приставил, и всего делов. А если он испугался – так я ни при чем. Никакого оружия!

– Вы подтверждаете, что видели у него оружие? – спрашивает сержант.

– Побойтесь Бога, мистер русский еврей-журналист, сэр! – говорит негр.

Зорин еще раз слегка краснеет и говорит, что нет, мол, собственно оружия он не видел, но он, конечно, может отличить палец от пистолета, и прикосновение было, безусловно, пистолета. Но поскольку он сначала не оборачивался, а потом уже издали мелкие детали было трудно разобрать, то он

на оружии не настаивает, потому что не хочет зря отягчать участь бедного, судя по всему, простого американца, которого только злая нужда могла, конечно, толкнуть на преступление.

– О'кэй, – говорит сержант, – с оружием мы тоже разобрались. Теперь с деньгами. Гони мистеру триста баков, живо, и если он будет так добр к тебе, то ты можешь на этот раз легко отделаться.

Тут негр ревет, как заводской гудок в день забастовки, и швыряет в лицо Зорину его двадцатку.

– Какие триста баков! – лопается от праведного возмущения негр. – Пусть он подавится своей двадцаткой! У него в нагрудном кармане пиджака, вот в этом – и тычет пальцем – была двадцатка, так он сам ее вытащил и отдал мне! Сержант, верьте мне: этот проклятый коммунистический еврей хочет заработать на бедном чернокожем! Что я сделал вам плохого, сэр?! Где я возьму вам триста долларов?!

Зорин, человек бывалый, выдержанный, все-таки краснеет еще раз и вообще происходит некоторая неловкая заминка. То есть дело приняло совсем не тот оборот, который был предусмотрен.

Сержант смотрит на него внимательно, сплевывает жвачку и говорит:

– Вы заявили, что грабитель отнял у вас триста долларов. В каких они были купюрах? Где лежали? Вы подтверждаете свое заявление?

Зорин говорит с примирительной улыбкой:

– Знаете, сержант, я все-таки волновался во время ограбления. Поймите: я все-таки не коренной американец, и как-то пока мало привык к таким вещам. У меня был стресс. Допускаю, что я мог в волнении и неточно в первый момент помнить какие-то отдельные детали. Может быть, там было и не триста, а меньше…

– Вы помните, сколько у вас было наличных? – спрашивает сержант; а полисмен откровенно веселится. – Проверьте, пожалуйста: сколько не хватает?

– Знаете, – говорит Зорин, – я был в гостях, совершил некоторые покупки с утра, подарки, потом мы там немного выпили… Не помню уже точно.

– Выпили, значит, – с новой интонацией произносит сержант. – И после этого сели за руль? Это вы в России привыкли так делать?

– Нет, – поспешно отвечает Зорин, и лицо его начинает чем-то напоминать совет из женского календаря: «Чтобы бюст был пышным, суньте его в улей». – Мы пили, конечно, только кока-колу, я вообще не пью, я просто имел в виду, что у меня было после встречи с моими американскими друзьями праздничное настроение, словно мы выпили, и, конечно, я был немного в растерянных чувствах…

– Короче, – говорит сержант. – Это ваша двадцатка?

– Моя.

– У вас есть еще материальные претензии к этому чело-

веку?

– Я ему покажу претензии! – вопит негр. – Обирала жидовский! Это что ж это такое, сэр, – жалуется он сержанту, – в родном городе заезжий еврей при содействии полиции грабит бедного чернокожего на триста долларов! Когда кончится этот расизм!

Тогда Зорин на ходу меняет тактику. Делает благородную позу.

– Сержант, – говорит он. – Я не хочу, чтобы этого несчастного наказывали. Мне известно о трудностях жизни цветного населения в Америке. Пусть считается, что я ему подарил эти двадцать долларов, и давайте пожмем друг другу руки в знак мира между нашими двумя великими державами.

Но сержант руку жать не торопится, а наоборот, его ирландская рожа начинает наливаться кровью.

– Подарили? – спрашивает, пыхтя.

– Подарил, – великодушно говорит Зорин.

– Так какого черта вы заявляете в полицию, что он вас под револьвером ограбил на триста, если на самом деле вы сами подарили ему двадцать? – орет сержант. – Вы же здесь сами десять минут назад хотели закатать его на двенадцать лет за вооруженный грабеж?!

– Я разволновался, – примирительно говорит Зорин. – Я был неправ. Я иногда еще плохо понимаю по-английски.

– Сколько лет вы в Америке?

– Около двадцати.

– Так какого черта вы здесь пишете, если не понимаете по-английски?

Тут до негра доходит, что двадцатку ему вроде как дарили, и он протягивает руку, чтоб взять ее обратно, но Зорин берет быстрее и кладет к себе в карман, потому что двадцати долларов ему все-таки жалко.

– Ладно, – сплевывает сержант. – Со своими подарками разбирайтесь сами. Это в компетенцию полиции не входит. Если у вас больше нет друг к другу претензий, проваливайте к разэдакой матери и не морочьте мне голову.

– Я напишу материал о блестящей работе нью-йоркской полиции, – льстиво говорит Зорин. – Очень рад был познакомиться. Как ваша фамилия, сержант?

– Мою фамилию вы можете прочитать на этой табличке, – говорит детина. – А писать или не писать – это ваше дело. Не думаю, чтоб мое начальство особенно обрадовали похвалы в коммунистической русской прессе. До свидания. А ты, Фил, погоди минутку. Ты мне пока нужен как свидетель всего разговора.

И Зорин с негром выкатываются на тротуар, где негр обкладывает Зорина в четыре этажа, плюет на его автомобиль, предлагает на прощание поцеловать себя в задницу и гордо удаляется. А Зорин уезжает домой, поражаясь работе нью-йоркской полиции и радуясь, что легко выпутался из лап этих держиморд.

А сержант снимает трубку и звонит знакомому репортеру

полицейской хроники, который подбрасывает ему мелочишку за эксклюзивную поставку информации для новостей.

– Слушай, – говорит, – Билл, тут у меня был один русский журналист… Зо-рин… Ва-лен-тин… да, его черный-наркоман грабанул на двадцатку, да, палец сунул к пояснице вместо револьвера… да, так он прикатил к нам и хотел этого бедолагу вскрыть на триста баков… как тебе это нравится, представляешь, закатать его на двенадцать лет?! Да, известный, говорит, журналист…

И назавтра «Нью-Йорк Таймс» выходит во-от с такой шапкой: «сенсация! сенсация! знаменитый русский журналист Валентин Зорин, известный своими антиамериканскими взглядами, пытается ограбить безработного, чернокожего наркомана!!!» И излагается в ярких красках вся эта история – с детальным указанием места, времени, и фамилий полицейских.

После этого перед Зориным закрываются двери американских домов. И его как-то тихо перестают приглашать на всякие брифинги и пресс-конференции. И интернациональные коллеги больше не зовут его выпить, и некоторые даже не здороваются.

И в конце концов он вынужден, естественно, покинуть Америку, потому что скандал получился некрасивый. Сидит в Союзе, и лишь крайне изредка проскальзывает по телевизору.

А когда его спрашивали:

– Вы столько лет проработали в Америке, так хорошо ее знали, – почему все-таки вы ее покинули и вернулись в Союз? – он отвечал так:

– Вы знаете, когда я как-то услышал, что мои дети, выходя из дому в школу, переходят между собой с русского на английский, я понял, что пора возвращаться!..

Легенда о морском параде

И была же, была Великая Империя, алели стяги в громе оркестров, чеканили шаг парадные коробки по брусчатым площадям, и гордость державной мощью вздымалась в гражданах! И под эти торжественные даты Первого мая и Седьмого ноября входил в Неву на военно-морской парад праздничный ордер Балтфлота. Боевые корабли, выдраенные до грозного сияния, вставали меж набережных на бочки, расцвечивались гирляндами флагов, и нарядные ленинградцы ходили любоваться этим зрелищем.

Возглавлял морской парад, по традиции, крейсер «Киров». Как любимец города и флагман флота. Флагманом он стал после того, как немцы утопили линкор «Марат», бывший «Двенадцать апостолов». Он вставал на почетном месте, перед Дворцовым мостом, у Адмиралтейства, и всем его было хорошо видно.

Так вот, как-то вскоре после войны, в сорок седьмом году, собираясь уже на парад, крейсер «Киров» напоролся в

Финском заливе на невытраленную мину. Мин этих мы там в войну напихали, как клецок, и плавали они еще долго; так что ничего удивительного. Получил он здоровенную дыру в скуле, и его кое-как отволокли в Кронштадт, в док. Сигнальщиков, начальство и всю вахту жестоко вздрючили, а особисты забегали и стали шить дело: чья это диверсия – оставить Ленинград на революционный праздник без любимца флота?

Флотское командование уже ощупывало, на месте ли погоны и головы. Сталин недоверчиво относился к случайностям и недолюбливал их. Пахло крупными оргвыводами.

И последовало естественное решение. У «Кирова» на Балтике был систер-шип, однотипный крейсер «Свердлов». Так пусть «Свердлов» и участвует в параде. Для разнообразия. Политически тоже выдержано – имена равного калибра. Какая, собственно, разница. Как будто так и было задумано.

А «Свердлов» в это время спокойно стоял под Кенигсбергом, уже переименованным в Калининград, в ремонте. Машины разобраны, хозяйство раскурочено, ободрано, половина морячков в береговых мастерских, ковыряются себе потихоньку. По субботам в увольнение на танцы ходят. И не ждут от жизни ничего худого.

И тут командир получает шифровку: срочно сниматься и полным ходом идти в Ленинград, с тем чтобы в ночь накануне праздника войти в Неву и занять место во главе парадного ордера. Исполнять.

Командир в панике радирует в Кронштадт: что, как, почему, а где же «Киров»? Вы там партийных деятелей не перепутали? Ответ: не твое дело. Приказ понятен?

Так я же в ремонте!! – Ремонт прервать. После парада вернешься и доремонтируешься. – Да крейсер же к черту разобран на части!! – Сколько надо времени, чтоб быстро собраться и выйти? – Минимум две недели. – В общем, так. Невыполнение приказа? Погоны жмут, жизнь наскучила? А… Ждем тебя, голубчик.

И начинается дикий хапарай в темпе чечетки. Срочно заводят на место механизмы главных машин. Приклепывают снятые листы обшивки. Командир принимает решение: начинать движение самым малым на одной вспомогательной, ее сейчас кончат приводить в порядок, а уже на ходу, двадцать четыре часа в сутки, силами команды, спешно доделывать все остальное. Всем БЧ через полчаса представить графики завершения работ.

БЧ воют в семьсот глоток, и вой этот вызывает в гавани дрожь и мысль о матросском бунте, именно том самом, бессмысленном и беспощадном: успеть никак невозможно! Командир уведомляет командиров БЧ об ответственности за бунт на борту, и через час получает графики. Согласно тем графикам лап у матроса шесть, и растут они вместо брюха, потому что жрать до Ленинграда будет некогда и нечего, коки и вся камбузная команда тоже будут круглые сутки завершать последствия ремонта. – Отлично; не жрешь – быстрей

крутиться будешь.

И тут вспоминают: а красить-то, красить когда?! Ведь ободрано все до металла!!! Командир – старпому: сука!!! Помполит – боцману: вредим понемногу?.. Боцман: в господа бога морскую мать. – Через час отходим!!! – Боцман: есть.

За пять минут до отхода, командир голос сорвал, вопя по телефонам, является старпом – доклад: задача выполнена. Командир: гигант! как? Помполит: ну то-то же. Старпом: так и так, сводная бригада маляров береговой базы на стенке построена. Пока мы на ходу все доделаем, они все и покрасят, в лучшем виде. Приказ – принимать на борт?

Командир хлопает старпома по плечу, жмет руку помполиту, утирает лоб рукавом, смотрит на часы и закуривает:

– Машине – готовность к оборотам. Приготовиться к отдаче швартовых. Рабочих – на борт.

Старпом говорит:

– Может быть, взглянете?

– Чего глядеть-то.

А снаружи раздается какой-то странный шум.

Командир смотрит в лицо старпому и выходит на крыло мостика.

Вся команда, побросав дела, сбилась вдоль борта. Свистит, прыгает и машет руками.

А на стенке колеблется строй малярш. И делает матросикам глазки.

Папироса из командирского рта падает на палубу, плавно

кувыркаясь и рассыпая искры, а сам он покачивается и хватается за поручни:

– Эт-то что…

Старпом каменеет лицом и гаркает боцману:

– Это что?!

Боцман рыкает строю:

– Смир-рна! – и, бросив руку к виску, рапортует: – Сводная бригада маляров в составе двухсот человек к ремонту-походу готова!

Малярши смыкают бедра, выпячивают груди, округляют глазки и подтверждают русалочьим хором:

– Ой готова!..

Матросики по борту мечут пену в экстазе и жестами всячески дают понять, что они приветствуют малярную готовность и, со своей стороны, также безмерно готовы.

Командир говорит:

– Ну!.. – и закуривает папиросу не тем концом. – Ну!.. – говорит. – Да!..

Помполит говорит:

– Морально-политическое состояние экипажа! – А у самого зрачки по блюдцу, и плещется в тех блюдцах то, о чем вслух не говорят.

А старпом почему-то изгибается буквой зю, и распрямляться не хочет. И краснеет.

А рация в рубке верещит: «Доложить готовность к отходу!»

– Готовность что надо, – мрачно говорит командир, сжевывая папиросный табак.

А боцман снизу – старорежимным оборотом:

– Прикажете грузить?

Командир машет рукой, как Пугачев виселице, и – обреченно:

– Принять на борт. Построить на полубаке к инструктажу.

И малярши радостной толпой валят по трапу, а морячки беснуются и в воздух чепчики бросают, и загнать их по местам нет никакой возможности.

– Команде по местам стоять!!! – вопит командир. – Отдать носовой!!!

Потому что никакого времени что бы то ни было изменить уже не остается. В качестве альтернативы – исключительно трибунал; а перед такой альтернативой человеку свойственно нервничать.

И раздолбанный крейсер тихо-тихо отваливает от стенки, а малярши выстраиваются на полубаке в четыре шеренги, теснясь выпуклостями, и со смешочками «По порядку номеров – рас-считайсь!» рассчитываются, причем счет никак не сходится, и с четвертого раза их оказывается сто семьдесят две, хотя в первый раз получилось сто девяносто три.

Боцман таращится преданно и предъявляет в доказательство список личного состава на двести персон. Персоны резвятся, и становится их на глазах все меньше, и это удивительное явление не поддается никакому научному истолко-

ванию.

Болельщики счастливо – боцману:

– Да кто ж по головам-то! Весом нетто надо было принимать – без упаковки!

Командир вышагивает – инструктирует кратко:

– Крейсер первого ранга! Дисциплина! Правительственный приказ! – Замедляет шаг: – Как звать? Не ты, вот ты! Назначаешься старшей! Вестовой – препроводить в салон. Боцман! – разбить по командам, назначить ответственных, раздать краску и инструмент, поставить задачи! Через полчаса доложить исполнение – проверю лич-но! Приступать.

И поднимается на мостик.

И под приветственный свист со всех кораблей они медленно ползут к выходу из гавани.

Командир переминается, смотрит на створы, на карту, на часы, и старпому говорит:

– Ну что же, – говорит, – Петр Николаевич. Вы капитан второго ранга, опыт большой, пора уже и самостоятельно на корабль аттестовываться. Так что давайте, командуйте выход в море. На румбе там восемьдесят шесть, да вы и сами все знаете, ходили. А я пока спущусь вниз: посмотрю лично, что там у нас делается. А то, сами понимаете…

И, манкируя таким образом святой и неотъемлемой обязанностью командиру на входе и выходе из порта присутствовать на мостике лично, он спускается в низы. И больше командира никто нигде не видит.

А старпом смотрит мечтательно в морское пространство, принимает опять позу буквой зю, шепчет что-то беззвучно и звонит второму штурману:

– Поднимитесь-ка, – говорит, – на мостик.

– Ну что, – говорит он ему, – товарищ капитан третьего ранга. Я ухожу скоро на командование, корабль получаю, вот после перехода сразу аттестуюсь. А вам расти тоже пора, засиделись во вторых, а ведь вы как штурман не слабее меня, и командирский навык есть, не отнекивайтесь; грамотный судоводитель, перспективный офицер. Дел у нас сейчас, как вы знаете, невпроворот, и все у старпома на горбу висит, так что примите мое доверие, давайте: из гавани мы уже почти вышли, курс проложен – покомандуйте пару часиков, пока я по хозяйству побегаю, разгону всем дам и хвоста накручу. Тем более, – напоминает со значением, – ситуация на борту, можно сказать, нештатная, тут глаз да глаз нужен.

И с видом сверх меры озабоченного работяги-страдальца старпом покидает мостик; и больше его тоже никто нигде никогда не видит.

…И вот на третьи сутки командир звонит из своей каюты на мостик: как там дела? где местонахождение, что на траверзе, скоро ли подходим? И с мостика ему никто не отвечает. Он немного удивляется, дует в телефон и звонит в штурманскую рубку. И там ему тоже никто не отвечает. Звонит старпому – молчание. Он в машину звонит! корабль-то на ходу, в иллюминатор видно! А вот вам – из машины тоже

никаких признаков жизни.

Командир синеет, звереет и звонит вестового. И – нет же ему вестового!

А из алькова командирского, из койки, с сонной нежностью спрашивают:

– Что ты переживаешь, котик? Что-нибудь случилось?..

Котик издает свирепое рычание, с треском влезает в китель.

– Ко-отик! куда ты? а штаны?..

Командир смотрит в зеркало на помятейшую рожу с черными тенями вокруг глаз и хватается за бритву.

– Да и что ж это ты так переживаешь? – ласково утешает его из простынь наикрасивейшая малярша, и назначенная за свои выдающиеся достоинства старшей и приглашенная, так сказать, по чину. – У вас ведь еще такая уйма народу на корабле, если что вдруг и случилось бы – так найдется кому присмотреть.

Командир в гневе сулит наикрасивейшей малярше то, что она уже и так получила в избытке, и, распространяя свежевыбритое сияние, панику и жажду расправы вплоть до повешения на реях, бежит на мостик.

При виде его полупрозрачная фигура на штурвале издает тихий стон и начинает оседать, цепляясь за рукоятки.

– Вахтенный помощник!!! – гремит командир.

А вот ни фига-то никакого вахтенного помощника. Равно как и прочих. Командир перехватывает штурвал, удерживая

крейсер на курсе, а матрос-рулевой, хилый первогодок, норовит провалиться в обморок.

– Доложить!! где!! штурман!! старший!!

А рулевой вытирает слезы и слабо лепечет:

– Товарищ капитан… первого ранга… третьи сутки без смены… не ел… пить… гальюн ведь… заснуть боялся… – и тут же на палубе вырубается: засыпает.

Командир ему твердою рукой – в ухо:

– Стоять! Держать курс! Трибунал! Расстрел! Еще пятнадцать минут! Отпуск! В отпуск поедешь! – И прыгает к телефону.

При слове «отпуск» матрос оживает и встает к штурвалу.

Командир беседует с телефоном. Телефон разговаривать с ним не хочет. Молчит телефон.

Он несется к старпому и дубасит в дверь. Ничего ему дверь на это не отвечает: не открывается. Несется в машину! Задраена машина на все задрайки, и не подает никаких признаков жизни.

Кубрики задраены, башни и снарядные погреба, задраена кают-компания, и даже радиорубка тоже задраена. И задраена дверь этой сволочи помполита. И малым ходом движется по тихой штилевой Балтике эдакий Летучий Голландец «Свердлов», без единого человека где бы то ни было.

И только с мостика душераздирающе стонет рулевой, подвешенный на волоске меж отпуском и трибуналом, истощив все силы за двое суток исполнения долга, в то время как

прочие истощили их за тот же период, исполняя удовольствие… Да мечется в лабиринтах броневого корпуса чисто выбритый, осунувшийся и осатаневший командир, матерясь во всех святых и грохоча каблуками и рукоятью пистолета во все люки и переборки. Но никто не откликается на тот стук, словно вымерли потерпевшие бедствие моряки, опоздало спасение, и напрасно старушка ждет сына домой.

В кошмаре и раже командир стал делить количество патронов в обойме на численность экипажа, и получил бесконечно малую дробь, не соответствующую решениям задачи.

Он прет в боевую рубку, и врубает ревун боевой тревоги, и объявляет по громкой трансляции всем стоять по боевому расписанию, настал их последний час. И таким левитановским голосом он это объявляет, что матросик на руле окончательно падает в обморок. Крейсер тихо скатывается в циркуляцию. Команда, очевидно, в свой последний час спешит пожить – не показывается. И только вдруг оживает связь: машина докладывает.

Слабым таким загробным голосом докладывает:

– Товарищ командир… Третьи сутки на вахте… один… Сил нет… прошу помощи…

– Кто в машине?! Где стармех?! Где вахтенный механик?!

– Матрос-моторист Иванов. Все кто где… мне приказали… обещали сменить, значит… если я, то и мне… Что случилось у нас?

– Пожар во втором снарядном погребе!!! – орет коман-

дир по трансляции и врубает пожарную тревогу. – Давай, орлы, сейчас на воздух взлетим!!! Пробоина в котельном отделении!!! Водяная тревога!!! Тонем же на хрен!!! – взывает неуставным образом.

И тогда повсюду начинают лязгать задрайки и хлопать люки и двери и раздается истошный женский визг. И на палубу прут изо всех щелей и дыр полуодетые, четвертьодетые и вовсе неодетые малярши и начинают бегать и визжать, а через них валят напролом, застегиваясь на ходу, бодрые матросы – расхватывают багры и огнетушители, раскатывают шланги и брезенты.

– Старпома на мостик!!! – орет командир. – Командиров БЧ на мостик!

И когда они, застегнутые не на те пуговицы и с развязанными шнурками, вскарабкиваются пред его очи, дрожа и потея как от сознания преступной своей греховности, так и от оной греховности последствий, —

– Пловучий бордель, – зловеще цедит командир… – А-а-а… из крейсера первого ранга – бардак?.. Что… товарищи офицеры!!! моральный облик!!! несовместимый! из кадров! к трепаной матери! без пенсии! под трибунал! за яйца! – Волчьим оскалом – щелк:

– Штурман!

– Так точно! – хором рубят штурмана.

– Местонахождение! Что на румбе?!

И дает отбой тревогам:

– Баб – всех – в носовой кубрик! на задрайку! часового! найду где – своей рукой! за борт! расстреляю!

Выясняется, что тем временем на траверзе рядом – Рига. Командир приказывает менять курс на нее и шлепать в Ригу. И через пару часов страшный, как после атомной войны, «Свердлов» своим малым инвалидским ходом вваливается в порт и просит приготовиться к приему двухсот ремонтных рабочих. Командир связывается с военным комендантом – убеждает обеспечить уж их доставку домой, в Кенигсберг. Да нет, дисциплинированные; выполняли срочное задание…

Выполнивших срочное задание малярш снова выстраивают на полубаке, но уже под бдительной охраной, и командир принимается лично пересчитывать их по взлохмаченным головам. Может, если б он их по другим местам считал, то и результат получился бы другой, а так у него получилось девяносто семь.

– Или через пять минут я сосчитаю до двухсот, – говорит обозленный своими арифметическими успехами командир старпому, – или через пять минут на крейсере открывается вакансия старшего помощника. Тебя в школе устному счету не учили? так получишь прокурора в репетиторы.

И бедных малярш, размягченных и осоловевших от военно-морского гостеприимства, извлекают из таких мест корабля, по сравнению с которыми шляпа фокусника – удобное и просторное жилище: из шкапчиков, закутков, рундуков, шлюпочных тентов, вентиляционных шахт, топливных

цистерн и водяных емкостей. И через полчаса их сто пятьдесят шесть.

Старпом плачет и клянется верностью присяге.

– Боцман, – осведомляется командир, – ты на Колыме баржой не заведовал? Аттестую!!

И боцман, скрежеща зубами, буквально шкрябкой продирает все закоулки корабля, и малярш набирается сто девяносто три.

– Ладно, хрен с ним, – примирительно останавливает командир, тем более что из недостающих семи одна, самая качественная, спит у него в каюте. – Время не позволяет дольше. Сгружай нафиг!..

«Свердлов» швартуется к стенке, спускает трап, и опечаленные малярши ссыпаются на берег, рассылая воздушные поцелуи и выкрикивая имена и адреса. Вслед за чем крейсер незамедлительно отваливает – продолжать свой многотрудный поход.

Объем незавершенных работ и оставшееся время друг другу соответствует, как комбайн – полевой незабудке. Командир принимает решение сосредоточить все усилия на категорически необходимом. Первое: кончить сборку главной машины, в Неву-то с ее фарватером и течением на вспомогаче не очень зайдешь. И второе: полностью произвести наружную окраску, без чего ужасный внешний вид любимца флота может быть не одобрен командованием.

И вот шлепает крейсер самым малым, а на мачтах, трубах,

за бортом болтаются в люльках матросики и спешно шаровой краской накатывают красоту на родной корабль. Весело работают! перемигиваются и кисти роняют.

И кое-как, командир на грани инфаркта, они действительно под обрез успевают, и на исходе предпраздничной ночи проходят Кронштадт, входят на рассвете в Неву, и обнаруживается, что буксиров для их встречи и проводки, конечно, нет. Как обычно на флоте, одной службе не полагается знать планы другой, и коли доподлинно известно, что «Киров» подорвался и в параде не участвует, то с чего бы портовой службе слать ему буксиры. А о геройском подвиге «Свердлова» ее не информировали. И «Свердлов» самостоятельно вползает в Неву, проходит мост лейтенанта Шмидта… а это совсем не так просто – тяжелому крейсеру в реке своим ходом протискиваться к стоянке и вставать на бочки. Течение сильное, фарватер узкий, места мало, осадка приличная – того и гляди сядешь на мель, подразвернет тебя поперек течения, и – сушите весла и сухари, товарищ командир.

И командир, в мокром насквозь кителе, отравленный бессонницей и никотином бесчисленных папирос, заводит-таки крейсер на место! А сверху сигнальщик торжественно поет, что у ступеней Адмиралтейства стоит, судя по вымпелу, катер командующего флотом, и сам командующий, горя наградами и галунами парадной адмиральской формы, наблюдает эволюции своего дубль-флагмана.

«Свердлов» замирает точно в предназначенной ему пози-

ции, напротив Адмиралтейства, и начинает постановку на бочки. И тут до всех доходит, что бочек никаких нет. По той же причине – раз нет «Кирова», значит, не нужны ему здесь и бочки, а насчет приказа «Свердлову» на срочный переход – не портовой службы это собачье дело, им об этом знать раньше времени, вроде, и по штату не полагается. Короче – не к чему швартоваться.

Командир поминает, что покойница-мама еще в детстве не велела ему приближаться к воде. И, естественно, приказывает отдавать носовые якоря. А это маневр не простой: надо зайти выше по течению, до самого Дворцового моста, стравить якоря и тихо сползать вниз по течению, пока якоря возьмутся за грунт, и чтоб точно угадать место, где они уже будут держать. И из-под командирской фуражки валит пар.

А адмиральский катер тем временем, не дожидаясь окончания всех этих пертурбаций, срывается пулей с места, красивой пенной дугой подлетает и притирается к борту, ухарьбаковый придерживает багром, вахтенный горланит:

– Адмиральский трап подать! – и адмиральский трап с четкостью опускается до палубы катера. И адмирал со свитой восходит на крейсер, под полагающиеся ему по должности пять свистков и чеканный рапорт дежурного офицера.

Адмирал следует на мостик, который командир до окончания постановки на якоря покидать не должен, с удовольствием наблюдает за последними распоряжениями, оценивает распаренный вид командира, благосклонно принимает

рапорт и жмет руку:

– Молодец! Службу знаешь! Ну что – успел? то-то. Благодарю!

Командир тянется и цветет, и открывает рот, чтоб лихо отрубить: «Служу Советскому Союзу!» Но вместо этих молодецких слов вдруг раздается взрыв отчаянного мата.

Адмирал поднимает брови. Командир глюкает кадыком. Свита изображает скульптурную группу «Адмирал Ушаков приказывает казнить турецкого пашу».

– Кх-м, – говорит адмирал, заминая неловкость; что ж, соленое слово у лихих моряков, да по запарке – ничего… бывает.

– Служу Советскому Союзу, – сообщает, наконец, командир.

– Пришлось попотеть? – поощрительно улыбается адмирал.

И в ответ опять – залп убийственной брани.

Адмирал злобно смотрит на командира. Командир четвертует взглядом старпома. Старпом издает змеиный шип на помполита. У помполита выражение как у палача, да угодившего вдруг на собственную казнь.

Матюги сотрясают воздух вновь, но уже тише. А над рассветной Невой, над водной гладью, меж гранитных набережных и стен пустого города, разносится непотребный звук с замечательной отчетливостью. И эхо поигрывает, как на вокзале.

Адмирал вертит головой, и все вертят, не понимая и желая выяснить, откуда же исходит это кощунственное безобразие.

И обращают внимание, что вниз по течению медленно сплывает какое-то большое белое пятно. А в середине этого пятна иногда появляется маленькая черная точка. И устанавливают такую закономерность, что именно тогда, когда эта точка появляется, возникает очередной букет дикого мата.

– Сигнальщик! – срывается с последней гайки в истерику командир. – Вахтенный!!! Шлюпку! Катер! Определить! Утопить!!!

Шлепают катер, в него прыгает команда, мчатся туда, а с мостика разглядывают в бинокли и обмениваются замечаниями, пари держат.

Катер влетает в это пятно, оказывающееся белой масляной краской. Из краски выныривает голова, разевает пасть и бешено матерится. Булькает, и скрывается обратно.

При следующем появлении голову хватают и тянут. И определяют, что голова принадлежит матросу с крейсера. Причем вытягивается из воды матрос с большим трудом, потому что к ноге у него намертво привязано ведро. Вот это ведро, естественно, тащило его течением на дно. А когда ему удавалось на две секунды вынырнуть, он и вопил, требуя спасения в самых кратких энергических выражениях.

Оказалось, что матрос сидел за бортом верхом на лапе якоря и срочно докрашивал ее острие в белый цвет. И когда

якорь отдали, пошел и он. Забыли матроса предупредить, не до того! красить-то его послал один начальник, а командовал отдачей якоря совсем другой. Ведро же ему надежным узлом привязал за ногу боцман, чтоб, сволочь, не утопил казенное имущество ни при каких обстоятельствах.

Командир, пред адмиральским ледяным презрением, из-за такой ерунды обгадилась самая концовка блестящая такой многотрудной операции – хрипом и рыком вздергивает на мостик боцмана:

– А тебе, – отмеряет, – твой матрос?! – десять суток гауптвахты!!

Несчастный боцман тянется по стойке смирно и не может удержаться от непроизвольного, этого извечного вопля:

– За что!.. товарищ командир!

На что следует ядовитый ответ:

– А за несоблюдение техники безопасности. Потому что, согласно правилам техники безопасности, при работе за бортом матрос должен был быть к лапе якоря принайтовлен… надежно… шкер-ти-ком!

Лаокоон

На Петроградской стороне, между улицами Красного Курсанта и Красной Конницы, есть маленькая площадь. Скорее даже сквер. Кругом деревья и скамейки – наверное, сквер.

А в центре этого сквера стояла скульптура. Лаокоон и двое его сыновей, удушаемые змеями. В натуральную величину, то есть фигуры человеческого роста. Античный шедевр бессмертного Фидия – мраморная копия работы знаменитого петербургского скульптора Паоло Трубецкого.

А рядом со сквером была школа. Средняя школа № 97. В ней учились школьники.

Ничего особенного в этом усмотреть нельзя. И школ, и скверов, и статуй в Ленинграде хоть пруд пруди.

Однажды в школу назначили нового директора. Директоров в Ленинграде тоже хоть пруд пруди. Большой город.

Новый директор, отставной замполит и серьезный мужчина с партийно-педагогическим образованием, собрал учительский коллектив и произнес речь по случаю вступления в должность. Доложил данные своей биографии, указал на недочеты во внешнем виде личного состава – юбки недостаточно длинны, волосы недостаточно коротки, брюки недостаточно широки, а курить в учительской нельзя; планконспекты уроков приказал за неделю представлять ему на утверждение. Это, говорит, товарищи учителя, не школа, а, простите, бардак! Но ничего, еще не все потеряно – вам повезло: теперь я у вас порядок наведу.

– А это, – спрашивает, – что такое? – И указывает в окно.

Это, говорят, площадь. Вернее, сквер. А что?

Нет – а вот это? В центре?

А это, охотно объясняют ему, скульптура. Лаокоон и двое

его сыновей, удушаемые змеями. Древнегреческая мифология. Зевс наслал двух морских змеев. Ваял великий Фидий. Мраморная копия знаменитого скульптора Паоло Трубецкого.

– Вот именно, – говорит директор, – что ваял… Трубецкой! Вы что – не отдаете себе отчета?

В чем?..

– А в том, простите, что это – шко-ла! Совместная притом. Здесь и девочки учатся. Девушки, к сожалению. Между прочим, вместе с мальчиками. Подростками. К сожалению. В периоде… созревания… вы меня понимаете. И чему же они могут совместно научиться перед такой статуей? Что они постоянно видят на этой, с позволения сказать, скульптуре?

А что они видят?..

Вы что – идиоты, или притворяетесь? – осведомляется директор. В армии я бы сказал вам, что они видят! Перед школой стоят голые мужчины… во всех подробностях! здесь что – медосмотр? баня? а девочки, значит, на переменах играют вокруг этого безобразия! Набираются, значит, этова… умаразума!

Тут учитель рисования опять объясняет: это древнегреческая статуя, Лаокоон и двое его сыновей, удушаемые змеями; мраморная копия знаменитого скульптора Паоло Трубецкого. Произведение искусства. Оказывает благотворное эстетическое воздействие. Шедевр, можно сказать, мирово-

го искусства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.